БОРИС ЗАЙЦЕВ

ТИХИЕ ЗОРИ

ПЗП

БОРИС ЗАЙЦЕВ

ТИХИЕ ЗОРИ

Товарищество Зарубежных Писателей

Мюнхен 1961

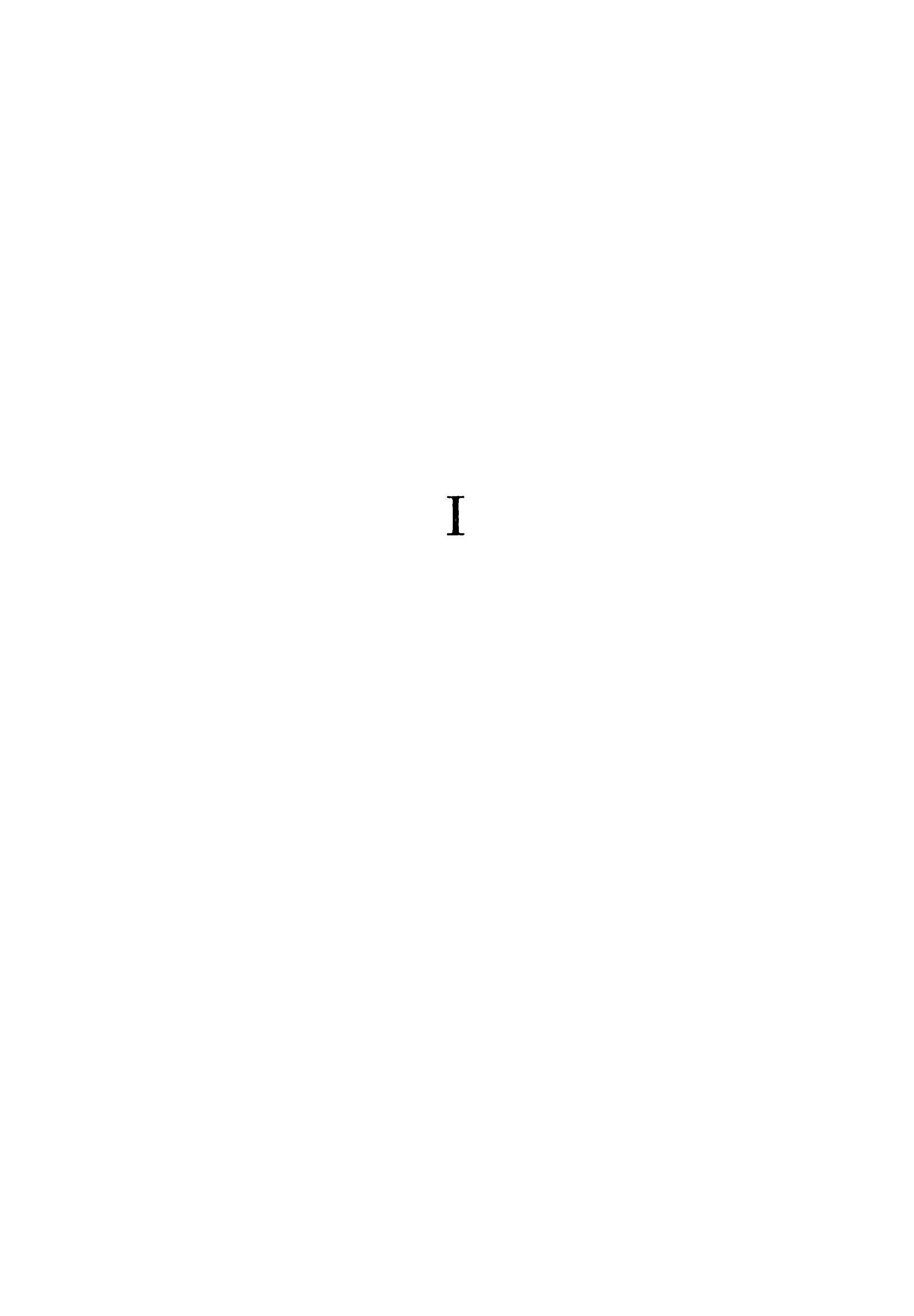
Склад издания:

Г. Андреев, ЦОПЭ-Бюро, Мюнхен 19, Ренаташтр. 77

Satz und Druck: Georg Butow, München 5, Kohlstraße 3 b, Tel. 29 51 36.

Эта книга выпускается в связи с исполнившимся в нынешнем году восьмидесятилетием Бориса Константиновича Зайцева и шестидесятилетием его литературной деятельности. Составленная им из небольших рассказов, по времени их написания, она не может рассматриваться, как отчетная о его долгом пути в нашей литературе, — тогда в сборник надо было бы включить и большие произведения писателя. Для этого у издательства нет возможности. Однако и этот отбор позволяет, по нашему мнению, хотя бы и далеко не полно, составить представление о творчестве Бориса Зайцева.

Издательство



I

ТИХИЕ ЗОРИ

I

То лето я жил в городе. Днем работал, а к вечеру возвращался в полупустую квартиру. Я не велел снимать портьер на лето, и они висели прямыми складками, чуть запыленные и меланхоличные. Тонкая, палевого оттенка пыль, проникала снаружи: она занавешивала своим нежным налетом все внутри; казалось, будто все здесь облегала воздушная кисея.

Среди этих больших, светлых комнат я жил уединенно, никого не видя, кроме старушки-прислуги, никуда не стремясь.

В один из тихих летних вечеров, почти у подъезда своего дома, я встретил Алексея Золотницкого, старого друга. Я встретил его при тяжелых обстоятельствах, — больного, измученного. Мы обнимались, целовались на улице, и я сейчас же повел его к себе наверх.

— Как я рад, — говорил он, улыбаясь своей все той же давнишней, светло-печальной улыбкой. — Как хорошо, что я тебя нашел!

Я обнял его за талию и помогал всходить. Взбираться было высоко, он ступал с усилием, и на площадках останавливался, переводя дух.

У меня в передней он несколько минут сидел, отдыхая; потом мы вместе, все так же под руку, обошли мою пустынную квартиру.

— Ну вот, мы будем жить здесь, я никуда не отпущу тебя отсюда.

Мы вышли на балкон; отсюда, с высоты, было видно далеко, и древний, любимый мой город шел к горизонту и то-

нул колокольнями в синеве. Солнце садилось. Неясные — то пыльно-золотистые, то паутинные полосы растягивались над городом. Темно зеленели сады пятнами по склону вдали, кой-где ярко блестели жгучими нитями телеграфные проволоки, ястреба реяли в воздухе. Кресты и купола горели.

— Больше года назад я потерял здесь жену, — говорил я: — и она, и я, мы родились здесь, здесь я любил ее и был счастлив. Здесь ее отняли у меня; здесь я страдал и погибал — умру, верно, тоже здесь.

Мы молчали долго. Вечерело. Алексей сел в кресло.

— У тебя как-то чинно в квартире, как-то важно, торжественно. Но хорошо... и внизу там тоже хорошо!

Внизу под нами был переулок, тихий и старый. Налево в нем подымалась церковка — почти до той же высоты, на какой были и мы. Она тоже была старая и смирная церковь; сейчас, в зачинавшемся оранжевом полусумраке, она вычерчивалась тонким и благородным силуэтом на небе, и в этой русской ее незаметности, в пирамиде над колоколами, в городках, глубоко уходивших в пирамиду — было что-то вековое; почти черные, июльские липы охватывали ее кольцом; они цвели; их сладкий запах шел оттуда струями и растекался по переулку.

Мы сидели и разговаривали. Темнело. Церковь с липами сливалась в одно, и липы стали еще черней.

— Алексей, — говорю я: — я не верю в твою болезнь!

Он улыбается.

— Не верь. Но она есть.

Я гляжу в церковный садик. Там мы бродили с ней раз поздней ночью, и тихий красный огонек виднелся в церкви тогда; за решетчатым, важным окном он мигал, пустынный и жуткий. Вспомнилось вдруг, как тогда, сразу и у меня и у ней, прошло под сердцем что-то ледяное, точно мы предчувствовали нечто, точно под той тихой церковью была бездонная, черная тьма; мы прижались друг к другу и долго сидели в том маленьком сквере, не говоря ни слова; а сумрак ночи реял вокруг.

Алексей как будто отгадал, о чем я думаю.

— А-а, — ты боишься. Боишься! А между тем, все они не страшны, поверь, совсем не страшны.

Он все сидел в кресле — большой, кроткий и усталый, Мы долго говорили с ним в тот вечер.

В моей памяти все это навсегда заняло свое место: спускавшийся на землю, будто живой, вещий мрак, черные липы вокруг церкви и маленький, припомнившийся огонек; сам Алексей, нежданный, дорогой гость, и его тихие слова в мглистом воздухе под трепет жуткого, мерещившегося мне света; весь вечер на высоте, пред ночью и небом.

II

Жизнь с Алексеем чрезвычайно радовала меня. Что-то детское, давно отошедшее, вновь вошло в эти комнаты. Алексей был тяжко болен, но мог ходить и только временами страдал. Теперь я больше бывал дома, читал, говорил с ним, иногда возил его в парк и за город, но чаще вечерами мы бывали дома, в прохладной большой комнате с балконом, отведенной ему.

Алексей был покоен.

— Мне даже странно, что мы живем тут так, — как ждал я этой тишины . . . простых, нежных звуков, такого неба . . .

— Но все это в тебе самом, ты везде и всегда будешь таким.

III

Случалось, что по ночам он не мог заснуть. Это чувствовалось еще с вечера по какой-то особенной сухости его тела, как будто слегка терявшего в весе, по особенному, тихому возбуждению, какое я встречал лишь у него. Тогда он будто отделялся от своей болезни, терял различие между днем и ночью, и часами мог бродить по пустым комнатам, неслышно ступая туфлями и дожидаясь рассвета. Обыкновенно мне сообщалось нечто в этом роде, и даже старая моя прислуга Анфиса нередко просыпалась в эти ночи бодрствования, крестилась и шептала пред своими лампадками.

Какие это были странные, смутные ночи! Раз неожиданно Анфиса принесла нам кипящий самовар, и в комнате со сладковатым, душным запахом лекарств, в полумгле летней ночи,

я поил Алексея малиной и чаем... Тихо было на улицах, ночь сторожила нас, в церковной ограде, среди июльских лип, стояла тьма.

IV

В наших комнатах, за полуспущенными шторами, в прохладе каменных стен было нежарко, но город изнемогал.

Садилось солнце, жар стихал, приходила бледная, робкая ночь. Сидя с Алексеем поздним вечером на балконе, мы любовались далями; все слегка затуманено, сухая бело-пыльная дымка стояла над городом; некоторые улицы внизу, пустынные уже, как бы отдавшиеся чему-то, смутно белели недвижными лентами; и наш переулок, обвеянный за день известковою пылью от строившихся домов, дремал и мерещился мне белесоватым каналом.

В один из таких вечеров, после полуночи, я ушел от него в комнату к себе. Я прилег и спал смутно; через час проснулся; в промежутках между портьерами чуть брезжило. Я встал и прошел в комнату Алексея. Там никого не было — дверь на балкон открыта. Я тихо подошел к двери, — Алексей стоял ко мне спиной и смотрел вдаль, на город.

Бледно-зеленый, девственный, тихий рассвет. Гардины висят беззвучными складками. Что-то томное в комнате.

Странное чувство охватило меня: вдруг, беспричинно и наверняка, я почувствовал, что Алексей обречен. Он стоял такой большой, неравноплечий, положив свою некрасивую ладонь поперек на влажные перила; перед ним вдали млело и дымилось слегка все, благодатная влага утра сходила на землю, и он был обречен, быть может, этим рассветом.

Я стоял молча. Он не видел меня и сел в глубокое кресло, ко мне в профиль. Тогда я подошел; он увидел меня и пристальным взором глядел мне в глаза. Я не мог отвернуться.

— Хорош рассвет. Как бледно, чисто, славно там.

Я не плакал. Что-то сияло на лице моего друга; слабо золотел крест на церкви; сумрак утра был зеленоват и тонок.

V

Раз ночью, в час, дверь моя скрипнула: вошел Алексей. Он подошел к моей постели и присел на ней.

— Я хочу немного пройтись. Может быть, и ты со мной?

— Охотно.

Я оделся, взял его под руку, и мы отправились.

На лестнице было сумеречно; в пирамидальном стеклянном колпаке для света виднелось небо; оно серело, звезды ломались и дробились в стекле.

Медленно, чтобы не утомить Алексея, мы двигались по тротуару к скверу за церковью. В городе, где-то далеко и глухо — шумело; как будто все вдали было затоплено гудящим морем и только здесь, в сквере, у старой церкви, стояла глубокая тишина.

Мы сели на скамеечку. Деревья вокруг стояли черные; и несколько переулков, сходившихся к скверу, были безлюдны: город спал, и его каменный сон был жуток. Темные дуновения налетали откуда-то сверху.

Тот же сквер. Я оглянулся на церковь. Что она там чернеет, многодумная, закутанная в ночные одежды? Не подслушиваем ли мы тут кого?

Мы молчали тоже. Потом Алексей встал.

— Пойдем.

Мы обошли вокруг церкви. Густая темная трава росла за оградой; у паперти, у старой, коричнево-черной иконы краснела лампадка. Веночек полузасохших цветов висел над ней. Ризы других святых под стеклом слегка поблескивали золотом. И все дремало во мраке.

— Как я устал, — говорит Алексей, — даже идти тяжело.

Мы поднимаемся с усилием по лестнице. Наверху, у себя в комнате, Алексей покорно снимает ветхую серую куртку со стоячим воротником, трет лоб, что-то мучительное появляется в его взгляде: жалобно бьются жилки на висках, — мелкие, утомленные жилки. Но он смирен, медленно он раздевается и ложится в постель. Я шагаю. Он закрыт одеялом до подбородка, и ноги его торчат прямо и неподвижно.

— В одну из таких пустых ночей я и умру.

Это верно, ночь пуста. Не знаю почему, но она *пустая* ночь. Но отчего он не боится?

— Алексей, ты веришь в то, что будешь жить и дальше?

— Не знаю. Да мне и так не страшно.

Не страшно! И правда, ему не страшно.

Выхожу на балкон. Сумрак редеет и как будто колышется. Небо стоит над нами, над городом и надо всем миром. Что оно

стоит там, что слушает наш разговор? Дальнее, глубокое небо, в котором тонем все мы: но молчит и слушает.

VI

Верно, Алексей больше не встал. Что-то сдвинулось в нем навсегда в ту ночь; какая-то упорная сила с тех пор безостановочно, почти вежливо вела его к концу. Конечно, его лечили, конечно, боролись, но было ясно, что все должны молчать.

VII

Дремлю в кресле у Алексеевой постели. Вдруг просыпаюсь. Ночь, второй час.

— Алексей!

Молчит. Дверь на балкон отворена, оттуда тянет зарей.

— Алексей!

Опять молчит. Беру его за руку. О-о, как холодна! Значит, конец, замолк.

Я никого не позвал. Я запер дверь на ключ и до утра сидел с ним, с усопшим Алексеем.

Тихо звучала в небе заря, внимательная, нежная заря. Ночь смолкает: неопределенный свет в комнатах через шторы.

Я плакал, но мои слезы не были кровавы и больны, и то, что случилось с Алексеем, в сознании моем не была смерть. Я не знал, что это было; я ничего не знал, ни о чем не думал, но в то же время я глубоко знал, что Алексей неприступен.

Светлело. Бледно-зеленые тона тянулись по небу, свежело слегка. Легкий и покойный лежит Алексей на кровати.

Я стою перед ним. Он лежит молчаливо, мой тихий, нежный друг!

VIII

Дни потом были странны, единственны. Стоял гроб в моей квартире, скромные монашки из монастыря читали поочередно высокими, монотонными голосами.

Но солнце к вечеру и небо — по-прежнему были золотисты и прозрачны; в балконную дверь виднелся четырехугольник света с темными липами и крестами церкви на нем; я не помню отчаяния в своем доме. В эти дни я ни с кем не разговаривал; все время я жил с ним, и его образ, омытый

светлыми слезами, прояснел — стоял передо мной нетленный, недосягаемый.

Помню монастырь, где его хоронили; далекий, прилетающий из-за города, с реки и вольных полей ветер, вечерние солнечные лучи. Тихий звон на колокольнях, белые соборы, бледно-голубая с золотом живопись, безбрежный шум ветра в липах на монастырском кладбище.

Висят в небе серовато-молочные купола, чернеют гладкие памятники и кресты внизу; белые ангелы распростерли крылья. На могиле Алексея крест и лампадка; я сижу на скамеечке у могилы.

В эти дни, просыпаясь беспричинно ночью, я неизменно вспоминаю Алексея, я брожу по комнатам, мне снова хочется туда, к его могиле, я выхожу на балкон и долго гляжу на небо: жду зари и знаю, что вечером буду там: это мое паломничество, никому ненужное, да, никому ненужное, кроме меня самого.

IX

Так идет время, — спокойное, славное время. Его ход усыпителен и чарующ.

Вот вечер за городом. Уединенная дача в березовом лесу; с полукруглого балкона недалеко внизу я вижу озеро; оно лежит меж чистых, нежно-белых стволов берез. Дом полон гостей, шумят, ходят вокруг, а озеро лежит немое и бледное; бессолнечный, неветренный день, облака перламутровы; крупными массами они застыли в озере, и если глядеть туда, начинает казаться, что выйдешь куда-то насквозь, глаз тонет в этом зеркале.

Сзади в комнате играют и поют. Ходят молодые студенты и девушки в светлых платьях.

Внизу, как говорят, детский приют-дача. Все время я слышу ровный, однообразный шелест тихих голосов — должно быть, необыкновенно смирные дети. Вот они уходят на прогулку; все они пяти-семи лет, одеты в голубенькие, желтенькие и белые платьица. Не торопясь, бредя вереницами, удаляются по дорожке вдоль озера.

Голоса сзади умолкают; все собираются в лес. Это хорошо, пусть идут, радостный молодой воздух девичьих платьев, свежести и любви, веявший сегодня весь день, уплывает с ними

в глубь леса. А уж сумерки близки, и белые березки сонны. Подозрительная тишина. Озеро околдовывает, тянет. Взор в нем, в нем далеко, и деревья вокруг как будто слегка заволакиваются нежною паутиной; сладкая боль плывет в сердце из озера, из тех далей в воде, что уводят неизвестно куда; из тех зеркальных туманов; в них растаял облик моего друга, но они видны вон там. Качайтесь, качайтесь, сонные березы, дремли душа сладко, люби . . .

Минуты идут. Снова с другого конца озера негромкие детские голоса; то там, то тут, вокруг светлых вод, выныривает из зелени ребячья головка; вереницами, сплетающимися цепями бродят маленькие дети вокруг вечернего озера; а дальше идут и те, снова в доме люди, жизнь. Озеро становится обыденнее, наша тайна только для нас.

Меня спрашивают, почему я молчу.

X

И снова время. Его набралось уже год со смерти Алексея.

В моей жизни перемены: это лето я в деревне, в старом нашем гнезде над русской рекой, под мягким русским солнцем. Все здесь уходит для меня в туман детства.

Ребенком я, или кто-то другой, на меня похожий, сидел у этой же калитки в частоколе, под дубом, из сада на реку, и так же река вилась мерцающей лентой; так же ползли вниз по ней сонные пароходы, так же благоухал жасмин у балкона, тот же дорогой затхлый воздух в старом доме.

Тогда и Алексей бегал тут мальчиком, а теперь мой собственный мальчик, сын, сирота сидит у няньки на руках и чему-то хлопает глазенками.

В этот свой приезд, в первый же день, после крепкого полуденного сна, я выхожу, слегка отуманенный, в сад. Песок скрипит под ногами и так бесхитростно, так свято пахнет травой, зеленью, опять тем же жасмином. Странно . . . Все зелено. Зеленеет небо, деревья, песок, — хотя они и не зелены: кто-то могучий и безымянный, чьего имени не разгадаешь, затопил все вокруг своей безмерной силой; он выдавливает из мозга мысли, он заливает все своей от-вечной, прозрачной

зеленью; и небо и воды послушны ему. И тебя нет, хотя ты идешь и видишь.

Вот на лавочке мой Гаврик с нянькой, доброй, коричневой мордовкой, похожей на ирокеза. Они сидят и глядят, мордовка шепчет что-то старыми губами. Гаврик ощущает свое, неопределенно машет ручонкой, покрикивает временами, как молодой зверенок.

Что они там думают, в этой зелени? Куда они глядят? Что видят? Не они ли в той зелени, и то зеленое не в них ли?

Веет ветер из далеких мест, о счастье — улыбаться так, глядеть туда.

Иду дальше. Вот он, старый дуб. Он мало изменился с тех пор. Ветер шумит в нем тем же шумом, что и тогда, что и в тех деревьях над Алексеевой могилой. Такою безбрежной кажется жизнь мира и отсюда, если лежать под дубом, закрыв глаза, слушая шум приречных лесов, созерцающих тихий ход реки. Тогда сливаешься снова с этими неповторимыми лесными запахами, что запали в детстве; снова летят в мозгу небыстрые чайки-рыболовы, которые перевелись уж тут. Перламутровая, чуть серебристая, непонятная, ведет откуда-то река свой ход, плетет свои струи, исполняет сердце великим миром. Сердце немеет и лежит распростертое, оно открыто любви; прошлое, настоящее и будущее в нем переплетаются; встает нежная радость о давно минувшем. Ползут сонные пароходы, стучат колесами. Из зеркальных далей, по реке, нисходит благословение горя.

Москва
1904 г.

МИФ

В третьем часу дня Миша отворяет калитку молодого сада и входит. Прямо, справа, слева правильными рядами яблони. В золотистом воздухе они поникли ветвями и несут свой прозрачный, теплеющий груз, как молодые матери. Миша идет мимо них. На него веет глубокий воздух; в нем как бы светлое цветение, безмолвные, полуденные струи; точно все наполнено тихим дрожанием, и очень высоко в небе расплавляется солнце. Мишин пиджачок нагрелся на спине особенным, живоносным теплом.

Вот он у шалаша. Перед дверью сидит в валенках старый сторож Клим. Глаза его бледно-сини. В них отражается небо. И весь он, в белых портах, с высохшими руками, напоминает пустынножителя. Ветхими, усталыми ногами он встает и кланяется.

Миша идет впереди, Клим слабо ступает сзади и все время бормочет про себя что-то; восьмидесятилетние его мозги еле движутся на припеке и шевелят привычными мыслями: в прежние годы яблок бывало больше, много уродилось налива . . .

Миша прислонился к стволу яблони. Над ним ходят в легком ветерке ее листики, будто осеняя своей лаской. Прямо перед глазами прозрачно наливается яблоко; вот оно с краев просветлело, точно живительная сила размягчила его; и кажется, что скоро в этих любовных лучах сверху весь этот драгоценный плод истает, обратится в светлую стихию и уплывет — радостно, кверху, как солнечный призрак. Другие яблони густо тучнеют, по дереву, через забор видна деревушка и вдали ржанище.

«Боже мой, — думает Миша, — хорошо лежать в чистом поле, при паутинках, в волнах ветра. Как он там тает, как чудесно растопить душу в свете и плакать и молиться. Быть может, после полудня над жатвой пролетают наши ангелы, особые, таинственные русские ангелы!»

В это время сзади, между деревьев, медленно движется Клим в белой рубахе. Сделав несколько шагов, он останавливается, переводит дух и тоже глядит на яблоки. Потом, добредя до шалаша, садится и длинно кряхтит. Миша возвращается, около огородов греются желтые дыни; они теплеют, струят сладкий запах и над ними колышет ласковый зной. Калитка, щеколда — и тихий рай остался сзади — млеть и лучисто жить, вынашивая плоды. Отсюда видны только на низеньких деревцах сонно-желтеющие купы яблок, от которых гнутся книзу ветки; а Клим, взяв палку, опять встал и зачем-то смотрит высоко в небо, будто видит что-то или рассматривает солнце.

В поле перед Мишей лежат жнивья — в тишине, как золотистые покровы. Светящейся сеткой протянулись тоненькие паутинки, и в воздушном просторе, по полям, у перелесков разбросаны деревни. Над головой облачка; вдалеке беззвучные возы с овсяными снопами; они ползут едва заметно, как далекие жуки, а под ногой слабо ломаются слюдяно-золотые колосики. Дойдя до нетронутых крестцов, Миша ложится и слушает, как молчит горизонт в солнечном дыму.

На дороге фигура женщины; сразу он узнает ее — это жена, рыжевато-сияющая Лисичка. Издали он улыбается ее плавному телу на длинных ногах; она мягко ступает ими, потом весело подхватывает юбку и, как милый страус, полулетя, доносится к нему; вот она здесь — вихрь тканей, ласковое загорелое лицо и теплое, прозрачно-персиковое тело. Миша глядит на знакомую плывучую фигуру. «Какая большая и какая легкая!»

А она обнимает его и целует в лоб, блистая, со славным, солнечно-полевым и радостным запахом. Ему кажется, будто пахнуло горячей воздушной волной.

— Нынче никого нет, все уехали! Мы одни, без хозяев!

Миша берет ее за талию; и, правда, ему кажется, что она может сейчас опять побежать, поплыть по воздуху . . .

— Мой дорогой — не торопитесь улетать!

Она тоже обнимает его и они идут. Нет хозяев, людские пусты, только липы, напоенные летом и золотом, в молчании слушают что-то; далеко на горизонте ползут возы с поблескивающими снопами. Клим все сидит и о чем-то думает в своем парадизе. Миша с Лисичкой минуют старый пруд, в нем тепло зеленеет вода, и кажется, если уйти под поверхность, сразу опустишься в полусказочную тину.

За садом на скамеечке они садятся. Золотой приятель-солнце — смотрит прямо на них; он теперь ниже, и его лучи любовней. Лисичка снимает шляпу, и в рыжеватых ее волосах сразу зажигается сияние; оно охватывает голову волнистым кольцом и мягко обтекает по контурам тела, точно лаская его.

— Я устала! — Я засну!

В глазах ее бегают те же чудесные световые зайчики. Миша кладет ее голову себе на колена, а она вытягивается во всю длину на скамье. Он щекочет ей лоб травинкой и она смолкает.

Лисичка спокойно и невинно спит. Острое лицо ее тонет в свете, только на глаза Миша навел тень коленкой. И в этих ласково-воздушных поцелуях он видит все маленькие и жалкие пушинки на ее лице, что отливают теперь золотом. Под ними ходит и играет кровью нежно-розовая кожица, как живодышащее существо; и мельчайшие родинки, поры, жилки, пронизаны какой-то особой жизнью. Миша с любовью глядит на большое тело Лисички, и она кажется ему обаятельной, светло-солнечной рыбой, каких нет на самом деле; в ней должна быть сияющая влага, кораллово-розовая кровь, тоньше и легче настоящей.

Он снимает фуражку. Потоки света заливают его. Голова делается теплей, и все вокруг начинает течь в медленном движении. Миша улыбается. Оперев голову на руку, он неподвижно смотрит на тонкие паутинки, что одели сеткой скат и бегут к нему своими переливами. Это похоже на золотистый призрачный ковер, тянущийся откуда-то издалека, чуть не с неба.

«Хорошо идти по нем, неслышными шагами, взбираться выше, к тем облакам, плавным купам в небе».

Время идет.

Лисичка блаженно бормочет во сне и вдруг — тонкая, заспанная и прозрачная — вскакивает и глядит. Потом хватает

его за руку, и смеясь, сбегают они вниз по скату, к речке и, не останавливаясь, дальше, в березовую рощу.

— Я заспалась, — кричит Лисичка, — я ничего не понимаю! Как пьяная! Миша, смотри, свет, свет, я пьяна светом!

И она дышит лицом к солнцу, и Миша видит, что она, правда, слегка обезумела, но он рад, он сам задыхается в странном, дивном блеске. Вот он падает под белую березу, как под нежно-зеленое успокоение. А Лисичка кружит вокруг, будто в легком танце.

— Ну, будет, пойдем, нынче я счастлива, я хочу поцеловать солнце . . .

И они идут рощей в горку. Сквозь тихие березовые стволы видно озеро бледно-зеленой майолики. Потом белые березы чаще, чаще, только они одни вокруг, и спокойная, глубокая ясность как-то просветляет мозг.

— Когда я думаю о христианах, — говорит Миша, — мне всегда представляется вот такой успокоенно-белеющий хор . . . Какие милые березки.

Лисичка слушает, кивает, и теперь он видит, что и ее осенила эта тишина, и она уже не кажется ему стихийной танцовщицей.

— Конечно, правда, милый, — она кладет ему на плечо голову, как приветливый жеребенок, — правда, даже я как-то благочестивей сейчас . . . Ну, не смейся . . . Я не знаю, как сказать . . . все равно, я глупая . . .

Она вспыхивает тем же пенно-розовым румянцем и в смущении мнет ромашку.

— Нет, дорогой, — Миша целует ее в лоб, — ты не глупый и ты прав. Здесь в самом деле целомудренное место. И мы с тобой уже не дети. Вот мы сейчас выйдем на опушку, оттуда будет видна наша страна, священная, гигантская наша страна. Чувствуешь ли ты ее?

Действительно, они выходят к краю рощи. Здесь довольно высокое взгорье, канава, и к ней тесным строем подходят березы.

За березами клонится книзу солнце. Миша с Лисичкой садятся на опушке, у края канавки.

— Теперь, должно быть, уже шесть. Как светло в небе!

— Вон голуби вьются тучей над поповскими ометами! Гляди, Миша, как они сверкают . . . как-то переливаются в воздухе! милые птицы!

Пока Лисичка радостно захлебывается, солнце наводит свой свет на церковь в лощине, внизу, и окно горит ослепительным зеркалом.

— Как будто какие-то волны в небе... прямо зеленоватый хрусталь. Необычайный вечер!

Они молчат. Далеко по склонам и перелогам видны поля в радужной дымке; окно церкви сияет, как в алмазном венце; смиренные деревушки, распростершись под небом, льют кверху влажные и благовонные столбы-гимны.

— Иногда со мной бывает, — говорит Миша, — как сейчас вот, что я ясно чувствую, как все мы, живя, мысля, работая, как тот мужиченко... вон пашет под озимое, что все мы вместе плывем, знаешь, как солнечная система. Куда? Бог знает, но к какой-то более сложной и просветленной жизни. Все мы переход, и мужики, и работники, и человечество теперешнее... И то, будущее, мне представляется вроде голубиного сияния, облачка вечернего.

— Миша, — робко говорит Лисичка, — ты рассказываешь будто про ангельскую жизнь...

— Ангелу вовсе не так трудно пролететь вон по той лазури.

Они молчат. Лисичка с любовью смотрит на Мишу, на голубей и солнце, и все ее золотисто-рыжеватое существо вдруг поникло в особенной нежности, точно поддалось музыке.

Вечером они возвращаются в пустую усадьбу. Лисичка утомлена, но легко опирается на Мишин локоть.

— Нынешний день я никогда не забуду: никогда раньше я не видала такого света, как сегодня! Бывают солнечные дни, а вот этот... золотой! Милый, золотой день! Милый день!

И ночью она рано, по-детски, засыпает. Миша же долго читает, долго ходит, и смутные мысли владеют им. Перед рассветом он ложится. Но сон нейдет, только возрастает тишина и звонкость утра. Наконец, в светлом волнении, он приоткрывает глаза и сквозь окна видит фон бледного золота, на котором чернеют ракиты. Роса затуманила траву, и к шалашу плетется Клим, как старый белый утренний петел.

Больше нельзя выдержать. Он одевается, приоткрывает дверь, чтобы не разбудить Лисичку, и садится на велосипед. Странно. Ноги сами бегут, шины чуть-чуть шуршат и задумчиво несут куда-то. Как легко и как быстро! Он вольно ды-

шит и выносится в поле, опять в жнивья. Вот он и простор, и мир. Золотой бог невысоко стоит на небе, а Миша скользит по земле неслышной птицей.

Он пьянеет. Дорога идет под гору, вдали деревни припали к земле, озеро тумана разлеглось по лугам, где вчера была соседская усадьба, и дымно-золотистый воздух кружит голову: спицы слились в сверкающий круг, дышать все легче, и огненный диск растет, разливается, заполняет небо, влечет к себе.

Через час Миша медленно въезжает во двор, с летящим и светлым сердцем; этот отрывок времени он пробыл будто во сне, в солнечном безумии, и теперь ему кажется, что если б он вошел в темную комнату, она осветилась бы.

Он проводит шиной по росе темную ленту и вплывает во флигель. На пороге еще раз оглядывается назад, потом входит. В его комнате мирно спит Лисичка; она как будто в облаке сна и ласки; под одеялом чувствуется тихо пышущее тело, в розоватом дыму. Две боковые косицы слабо поблескивают, и во всю длину темени, между ними идет белый жалобный пробор. Миша улыбается.

— Пеннорожденная!

Тоненькую ногу, высунувшуюся слегка, ласкают лучи из окна. На ней слабые жилки, и вся она приветливая и прозрачная.

Притыкино
1906 г.

ЖЕМЧУГ

Весенним вечером, при луне, я позвонила в дальнем переулке у подъезда. Было девять. В передней стоял знакомый нюренбергский фонарь, в мастерской Павла Асинкритыча лунный свет лег сиянием на пол, на холсты, этюды.

— А, Надишь!

Павел Асинкритыч потрепал меня по руке, погладил бороду, — седую, давно известную мне бороду.

— К чаю просим, к чаю просим. Катенька, это Надишь.

Мы целовались с Катериной Евграфовной, проходя в столовую. Это собственно и не столовая — как и все здесь особенное. Может быть, тут дом, может, музей. Старье, резная мебель, керамика. По стенам скамьи. Был уже народ. Всех здесь я знаю, некоторых люблю. Больше художники, актрисы из молодых.

Катерина Евграфовна распоряжалась полем действия. У ней на этот счет свой взгляд. Нельзя, если пришедший сидит один слишком долго. Или двое заговорились. Это расстраивает гармонию. А гармония, по ее мнению, самое важное.

— Что поделывали, ангел? — говорил Павел Асинкритыч. — Вы мне хотя в дочки годитесь, все же я вас люблю и как женщину.

— Я в размягченном состоянии. Теперь весна, я грущу, — «и мне чего-то жаль». Это, верно, потому, что я старею, Павел Асинкритыч.

— Вздор-с, милая. Пустяки болтаете. Стареть человек начинает с шестидесяти. Вот я, например, хо-хо... разве я стар? хо-хо...

Хорошо, что нас не видела Катерина Евграфовна. Она на-

вела бы порядки. Ибо мы сидели в мастерской и разговаривали одни. Месяц заливал наш диван.

На мне было черное платье и старая нить жемчуга, любимая мною, с крестом венецианской работы. Здесь, под луной, мой жемчуг млел и таинственно играл голубоватыми лучами.

— Вот, вы видите, до чего я расслаблена, я гляжу на свой жемчуг, и мне хочется ласкать его и пошептаться с ним. Это сантиментально? Но он с моей родины, из Италии, и он видел много чудесного.

— То все брехня. Жемчуги не разговаривают. Э-х, не втирать нам очков, что там...

В столовой разговор гремел. Спорили о художнике С. Мой друг Р. говорил:

— По-чешски художник называется «умелец». Ну скажите на милость, разве ж он умелец? Хорошо, допускаем тон, но форму его признать, форму! «Великий артист»! Когда он пальца нарисовать не умеет. Нет, простите... Ну, колорист, туда сюда...

— Он варвар. И отлично. Ему ваших рисунков не надо.

Из прихожей вышел человек — высокий, темный, с морщиной поперек лба. Я взглянула на него. Это был Александр Андреич.

Крепкой рукой жал он руку Павлу Асинкритычу. На пальце блеснул бриллиант. Красный цветок в петлице.

— Давно в наши земли?

— Только-что. К вам первым.

Он улыбался. Улыбка не шла к его лицу — тяжелому, странному. Маленькие глаза были тверды. Мне показалось, что он стал резче, мрачней и задумчивей.

Подал руку и мне. Опять несветящаяся улыбка прошла по нем.

— Все по-прежнему. Надежда Николаевна здесь и даже в прежнем платье. Даже жемчуг тот же.

Мне стало неприятно. Зачем ему мой жемчуг?

Я вспыхнула.

— И вы тот же. Те же бриллианты на руках. Разница в том, что мой жемчуг прекрасен, а носить бриллианты на пальцах мужчинам — нехорошо.

— Почему?

— Дурной тон.

— Вот как!

Он поглядел, задумался, покачал головой. — Вот как, — он стал болтать ложечкой в стакане.

Что могу я сказать об этом человеке? Боже мой, мне ли его не знать? Восемь лет назад он подарил мне этот жемчуг, весною, в Венеции. Восемь лет назад мы любили друг друга бурно, мучительно любили, бывали счастливы — до гибели, и были в общем очень несчастны. Наша любовь продолжалась год. Мы жили вместе, и за этот год я узнала его всего снаружи, но не скажу, знала ли вообще.

Он был тяжек. Мрачная душа жила в нем. Над нашей любовью было неблагополучие. Мы терзали друг друга, страдали, потом разошлись. Иногда встречались в обществе, всегда чужие. И он и я любили еще других; мы забыли друг о друге. Даже могу сказать, что к нему я теперь относилась недружелюбно. Передавали и мне, что и он меня не любит.

— Дайте, пожалуйста, вина, — обратился он к Павлу Асинкритычу. — Кажется, ведь у вас ужина не полагается? A la fourchette?

Павел Асинкритыч хлопнул его по спине.

— Виноват-с, виноват. Катенька, вина!

— Вам красного? Белого?

— Белого.

Я опять раздражилась.

— Есть два сорта людей. Одни пьют красное вино, любят Италию и вообще они... Другие — белое...

— Ну?

— Те гораздо хуже.

Павел Асинкритыч подошел ко мне.

— Надишь, не дерзи. Нехорошо, мой ангел. Он вовсе и не так плох, а?

Я не ответила, мне стало скучно.

— Нет, вы насчет белого неправы, — вмешался Р. — Дело не в цвете. Дело в том, в какой стране что растет. По вину вы узнаете край. Должен вам сказать, наш край не из важных.

Александр Андреич пил вино. Я молчала. Кругом говорили, Р. пил также и быстро вступил в спор. Я села в угол и глядела в мастерскую. Там, как прежде, плыл голубой лунный свет; он казался мне магическим и сладким. В комнате за столовой молодая артистка запела. Ей аккомпанировали томно, ее густой, высокий голос опьянял меня. «Что это, я совсем по-

лоумная». Горячая струя, сладостная и смертоносная, пронзила меня.

— Нет, не могу!

Я встала, вышла к столу. Я была бледна. Все сидели молча. Певица кончила. Молчание. Потом вздохнули. Вздох был общий — тот, когда прекрасное является, побеждает.

Я взглянула на Александра Андреича. Он смотрел также на меня, непонятным, упорным взглядом.

Я обняла Катерину Евграфовну и простилась.

— Душенька, — кричал Павел Асинкритыч, — куда ж рано так?

— Никуда. Устала. Никуда.

У подъезда стоял автомобиль. «Это его», подумала я. Я не знала, что у него есть автомобиль, но могла бы держать пари.

Было тепло. Луна сияла так нежно! Мне захотелось слез, каких-то дивных фиалок, уткнуть в них лицо и плакать, плакать... О чем собственно? Я не знала.

Я шла по светлой стороне переулка, расстегнув манто. Снова мой жемчуг искрился; теперь, маленькие, серебряные, в нем бродили как бы слезки. Через пять минут я услыхала ровный, легкий шорох; оглянулась, — два золотые глаза неслись беззвучно.

В двух шагах машина остановилась.

— Надежда Николаевна!

Это он. Что же, все возможно, все так странно нынче.

— Сядьте ко мне. Мы поедем. Ну, я очень прошу вас.

Я села. Мы тронулись. Да, автомобиль вещь особенная. В нем летишь птицей, в нем нет веса, и когда мы неслись по пустынным улицам, под пустынно-ласковым небом, у меня дух захватывало. Почему-то вспомнилось, как в мировом пространстве мчится беззвучно комета, сияя и сгорая, из одной неизвестной бездны в другую.

Александр Андреич был тих. Он долго смотрел на меня.

— Вы меня ненавидели там... у стариков. За что?

— Я не знаю. За что-то — да. Зачем вы попрекнули мой жемчуг?

Он улыбнулся.

— Бедный жемчуг, бедный жемчуг!

Я опять взволновалась.

— Я знаю, вы хотели уколоть нашу любовь. Вам мало, что

прошло все, вы хотели... — я задохнулась от гнева — хотели посмеяться над ней.

Он стал серьезен.

— Посмеяться? Ах, нет, Надя, вы не поняли.

— Я для вас не Надя, запомните это, не Надя...

Он взял меня за руки.

— Белые руки, белые руки! Не гневайтесь на меня. Я вижу, как трепещут ваши жилки. Милая, милая...

Я опустилась, умолкла как-то. Раздражение, тоска, все во мне замерло, я сидела поникнув, а шофер мчал нас из улицы в улицу, из переулка в переулок. Около здания с белыми шарами мы остановились. Я опомнилась. Это ресторан. Вот она, мировая бездна, куда мы летели! Я немного сконфузилась. Но поздно, неловко было говорить. Блистал зеркалами вход. Александр Андреич взял меня под руку. По красному ковру мы поднялись в вестибюль, в цветах. Румыны ударили смычками, многоголосый гул ресторана, толпа, золото света — все било по нервам. На минуту я забылась. Я чувствовала себя актрисой при поднятии занавеса. И должна сознаться, что первая минута в ресторане всегда такая. Все-таки это сцена. Полгорода знает Александра Андреича, треть — меня, четверть — нашу прежнюю жизнь.

Все было занято. Мы прошли через зал и едва нашли стол. Несколько раз, в огне взглядов, среди обертывавшихся, слышала я имя Александра Андреича. Раз — свое. Но волна схлынула, снова я поняла, что делаю что-то нелепое, дикое. Да уж раз начато...

Александр Андреич заказал устриц, мне котлетку марешаль. Почему он вспомнил, что я люблю котлеты марешаль? Пили мы шампанское. Александр Андреич молчал. Странную власть имел надо мной в этот вечер этот человек! Ну зачем я здесь, что надо мне, что ему? Мы не можем любить друг друга, — что за тайная сила свела нас, про себя живших свои жизни, про себя страдавших?

— Я не хотел посмеяться над жемчугом, — сказал он. — Нет, не хотел посмеяться.

Он сидел передо мной, огромный, черный, неподвижный. «Он похож на Елеазара», подумала я, холодея. «На Елеазара, увидевшего раз смерть, и не могущего забыть».

— Я сказал вам... потому что... Когда я увидел ваш жемчуг, то... да. Чтобы скрыть это, только чтобы скрыть, я сказал... дерзко.

— Да ведь мы не любим же друг друга?

— Да, конечно.

Я взяла в руку жемчуг. Он горел теперь, в блеске золотого света ядовито, колдовски.

— Может быть, здесь скопилась вся прелесть, мука, восторг нашей любви. Может, это таинственный амулет, нерасторжимо связавший нас.

— Может быть. Да. Я вам не договорил. Когда я его увидел, я вспомнил то, что было восемь лег. Почему это вспомнилось нынче? Сколько раз мы встречались, здоровались — все было — не то...

Он подпирал рукой голову. В руке держал бокал, где весело, легко взбегали пузырьки, — божественно чистые.

Снова он стал другим. Теперь казался печальной глыбой — таким бывал в лучшие минуты. Теперь глаза его светили.

— Рождение божества, — он глядел на бокал, — так же легко и бессмертно, как бег этих пузырьков. Божество есть в вас, в ваших белых руках, в вашем жемчуге. Да. Оно было в нашей любви. Оно было, Надя, вы не станете отрицать.

В первый раз я назвала его «Александр».

— Да, — было. Несмотря на все, было.

Мы чокнулись.

— Кто виновен в том, что мы не были счастливы, и расстались? — Он выпил глоток. — Судьба.

Все, что потом было, я вспоминаю, как ничто.

— Поедемте, — я поднялась — не могу здесь больше сидеть.

Я знаю себя. Я знала, что в груди, в горле у меня поднимается теплота, начинает щекотать, вдруг здесь, на народе, в белой с золотом зале, я разревусь, — а уж я знаю, как я реву!

Он поддерживал меня, мы вышли. У подъезда он купил фиалок. Было довольно поздно. Моя луна — в тот вечер мне казалось, что луна моя, — луна зашла. Небо посветлело; чище, невинней мерцали звезды на бледно-синем родном лоне.

— Ну, едем, — бормотала я. — Едем, только скорей, ради Бога.

Мы летели. Это было похоже на сновидение. Мы молчали. Кажется, мы знали друг друга до конца. Я уткнула нос в фи-

алки (как он угадал?), и сидела оцепенев, а воздушный конь носил нас в тихом безумии по улицам, из конца в конец.

— Шибче, — шептала я по временам. — Шибче.

Александр Андреич взял мою руку, но она была холодная — как сейчас помню ее: белая мертвая рука во мгле зари.

Наконец я разразилась. Я плакала молча, долго, негромко и горько. Александр целовал мою руку, но мы ничего не могли сказать друг другу. Мы знали, что любовь наша прошла, что ничем нельзя вернуть ее, как не остановить хода этих звезд. Что оплакиваем мы нашу жизнь, — почему-то незадачливую жизнь, перегнувшуюся теперь к закату. Что ушло бессмертное, ушло.

Около памятника у бульвара я велела остановиться. Я слезла. Прошла несколько шагов по бульвару и села. Ветерок пробежал в липе, над моей скамейкой. Александр Андреич дошел половину пути ко мне и остановился. Потом снял шляпу, постоял. Хотел он сказать что-нибудь? Не знаю. Вдруг поклонился и ушел. Метнулся его автомобиль, и как призрачно была принесена я сюда, в чьем-то полете, — так же исчез он, фантомом, на своей бесшумной машине. На повороте чудовище взвыло, блеснул золотой глаз. Все стихло.

Я же сидела и плакала — тихими слезами. Я сняла с шеи жемчуг, целовала каждую жемчужину. Теплые, розоватые пятна проступали в них. Бледное сияние звезд, небесных дев, гаснущих в заре, отразилось в нем так же. Я верила, что, правда, этот жемчуг — самое святое, дивное, что осталось от моей жизни, моей любви.

Москва
1910 г.

ВЕЧЕРНИЙ ЧАС

Со Специи я начала волноваться — оставалось два часа до Сестри.

Мы мчались во тьме и духоте туннелей. На минуту холодноватым блеском сверкало море — и снова грохот в горных недрах, задымленные стекла и электричество.

На полустанке я опустила окно и высунулась. В ущельи лежал итальянский город, с кампаниллой, черепичными крышами домов. Слева хлестало море; справа горы теснили, голые, серые. Темное облако клубилось на вершине.

Мне стало жутко. Вот я приеду в глушь, и куда я денусь вечером, когда начнет завывать ветер, море разгудится?

Я вздохнула, откинулась и прислонилась к углу купе. Поезд тронулся. Я закрыла глаза, и вместо беспокойно-щемящего чувства вдруг ощутила великую тишину, покой. Не все ли равно, где жить и как жить? Конечно, прочно устроиться я нигде не могу. С некоторых пор мое существование приняло бездомный характер.

Передо мной потянулись было видения прошлого, — распря с мужем, борьба за Борю, которого муж сумел отвоевать; но это не доставило той острой боли, как прежде. Верно, я попросту утомилась. И я стала ждать.

«Ловко будет», — думала я, вылезая через час в Сестри,— «если Александра Николаевна не встретит. Отлично будет!»

Александра Николаевна, эмигрантка, моя знакомая по России — единственное существо, известное мне тут. У нее я должна поселиться, она будет моим хранителем, опекуном.

Итальянцы кинулись на меня с горячностью людей, надеющихся заработать лиру. Они тотчас сообразили, что мне в

Барассо, за два километра от станции: там живут русские. Да, но к кому именно в Барассо?

Подошел начальник станции и сказал, что ничего, русская синьора, ожидавшая меня, вышла в paese, т. е. в город и сейчас вернется.

Действительно, через минуту я увидела Александру Николаевну. Она шла ко мне твердой, суховатой походкой. Ветер трепал несколько ее волосы; она была без шляпы, в черной бархатной кофточке, с папиросой.

Поцеловала она меня серьезно. Ее вид как бы говорил: «Я сдержана, доброжелательна, но не сантиментальна».

Кучера сразу успокоились, и мы сели именно в ту коляску, куда следовало. Я была теперь в надежных руках.

Покуривая папиросу, Александра Николаевна говорила:

— У нас не весело, предупреждаю. Соскучитесь. Даже кафе нет.

Кучер вез нас по приморской улице, аллеей платанов. На рыбачьем судне, в заливе, зажгли красный огонь. По вершинам гор ползли тучи. Было хмуро, сыро. Но отлично пахло морем, а когда мы переехали шлагбаум у туннеля и покатили вдоль берега у скал — сверху донеслось чудесное благоухание сосен. Справа утесы шли отвесно. Море шумело глухо, весь берег туманился брызгами. Кучер щелкал бичем, покрикивая у-об! и временами на меня налетала седая морская пыль, от которой губы становятся солеными.

— Я не избалована, — отвечала я Александре Николаевне.

— Ну, там посмотрите.

У самого въезда в Барассо нас снова задержали у шлагбаума: из туннеля вылетел поезд, сверкнул искрами, освещенными окнами вагонов и, обдав нас дымом, понесся к Генуе.

— Направо, — сказала Александра Николаевна.

Кучер свернул в проулок между стенами, за которыми вились виноградники. Мы остановились у розового дома.

Я привыкла к довольно богатой жизни, и сначала не поняла, что темная лестница с кошками — это главный вход. Но оказалось — так. Мы поднялись в третий этаж. Квартира Александры Николаевны состояла из четырех комнат.

— Вот эту, — сказала она, отворяя дверь в маленькую, как бы монастырскую келью с белыми стенами, — я могу уступить вам.

— Отлично.

Александра Николаевна ушла в кухню, попыхивая папиросой, приготовлять с итальянской девочкой Мариеттой обед. Я разбирала свои вещи. Вот куда занесла меня судьба! Думала ли я, выступая пять лет назад в «Князе Игоре», что окажусь в этом глухом углу итальянского побережья, в квартирке, снятой у лигурийских мещан, на берегу моря? Могла ли я предвидеть сегодняшний вечер с хмурыми облаками над горой, с дождем, Александрой Николаевной, Мариеттой?

Пока готовили обед, я вышла в столовую и отворила окно. Оно выходило в горы. Внизу, в винограднике, возился итальянец в синих штанах, в большой шляпе. Из апельсинной рощи шел свежий запах, желтели плоды; по горам изсера зеленели оливки, а выше — темные сосны. Оттуда, как и от облаков, курившихся на горах, веяло тишиной, спокойным, важным. «Живите, заблуждайтесь, страдайте», как-бы говорили они: «мы плывем, под нами благоухают леса, мы даем этот сырой, туманный вечер, когда в горах жутко, и сиротливей селения по склонам. Мы плывем и таем, мы жизнь, настоящая, вечная жизнь».

Когда в сельской церкви зазвонили к Ave Maria и звуки медленно наполняли окрестность, а в горных храмах им отзывались другие — я почувствовала еще сильней, что у этих молчаливых существ есть жизнь, и быть может, значительнее моей.

Итак я поселилась в маленькой белой комнате, выходящей на море.

Дурная погода кончилась. Светит солнце. Рядом, на плоской крыше в виде террасы, итальянка сушит белье, а дети внизу скачут через веревочку.

Странное дело: мне не скучно. Я ощущаю огромное сочувствие к этой итальянке, к детям, даже к шумной девчонке Марии, которая вечно ссорится с подругой — в окне дома напротив.

Иногда они визжат, плачут, потом мирятся и выставляют за окно дрозда в клетке. Увидев меня, говорят: «Здравствуйте», — и это похоже на щебет птицы.

Здесь вообще знают русских Уже несколько раз слышала я русские слова. Вчера эмигрант спрашивал у Мариетты, до-

ма ли Александра Николаевна. Мариетта ответила: «Вера (это я) in casa, Саша non c'e».

Достаточно выйти из дому — тотчас увидишь фигуру, которая только и может быть русской: косоворотка, бандитская шляпа, особенная походка. Если идет барышня с мохнатой простыней, в сандалиях, — значит наша, с купания.

Чаще всего наших можно встретить у моря. Возможно, в нашей натуре есть то мягко-певучее, что влечет к одиночеству, мечтательной меланхолии. Затем, большинство здесь, как и я, разбитые корабли.

Может быть, оттого, что за последние годы мне самой много пришлось перенести, — эти люди вызывают во мне жалость. Прибавлю: жалость необидную. Ту, которою пусть и они пожалеют меня.

На днях я познакомилась с двумя здешними барышнями. Одна называется Катя, другая еврейка, Леечка. И вот эта «товарищ Катя», маленькая, с астмой, заведывала какой-то лабораторией; была сослана в Сибирь, на каторгу. Бежала через всю Азию.

Конечно, она существо надломленное, усталое, хотя и сохранила остатки прежнего: слова «законспирировалась», «публика», и пр.

Леечка совсем другое. Но она не эмигрантка, учительница из западного края. Ее послали сюда поправляться. Она черненькая, очень молодая, экзальтированная и склонная верить во все возвышенное. Она часто ходит с томиком Гейне, Пушкина, забирается на гору Сант-Анна, или ложится у моря, читает.

— Здравствуйте, — говорит она обыкновенно, и вся зардеется. — Какия нынче прекрасные погоды!

Ее черные глаза блестят, она смотрит на море, солнце, а я думаю: «в ней есть поэт», — и мне приятно это.

— Идем купаться? — говорит она. — Хорошо? Я целый день могу здесь ходить, тут так хорошо!

На пляже мы встречаем Александру Николаевну. В руках у нее письмо, и я догадываюсь, от кого: от мужа, из Милана. У них что-то происходит, несомненно. Александра Николаевна курит из мундштука, ее серые, умные глаза печальны. Мы с Леечкой раздеваемся (никого здесь нет). Солнце блестит в воде, вода хрустально-зеленая, теплая, и вся кипит пузырь-

ками. Мы смеемся, ложимся; волны окатывают нас. Точно жизнь, сила входит в меня с этими волнами.

По насыпи проносится поезд. «Чау-чау!» кричим мы. Леечка вылезла уже, а мне не хочется. Так бы и лежала на песке, обдаваемая кипящим серебром, смотрела бы на горы, голубое небо над ними, дышала б солнечно-соленым воздухом.

— Ах, какой нынче замечательный день! — говорит Леечка, отирая ножки о песок. — Как удивительно тепло!

Утро. Я иду проулком между домами, в тени. Розовые стены залиты солнцем. Из садика свешивается виноград. В нише — грубо сделанная статуэтка Франциска Ассизского.

У выхода на приморскую улицу встречаю девочку Таню.

— Купаться идете? — спрашивает она.

— Нет.

— Можно мне с вами?

— Идем.

— Вы знаете, — говорит Таня, взяв меня за руку, — мы завтра уезжаем. То есть, я, Лена и мама. Папа остается, не может, а мы в Россию.

— Вам хочется в Россию?

— Нет.

Таня задумчиво шагает рядом со мной. Она беленькая девочка, очень загорелая, в веснушках. Ножки у ней до колен голые.

— Нам здесь как в раю было. Мы играли очень хорошо. Вы знаете Ромоло, хозяйского сына? Очень симпатичный.

Я знаю и Ромоло, и Танина отца — плотного эмигранта с типично-русским, грубоватым лицом. На лето к нему приезжала из России семья. Он в первый раз увидел дочь, родившуюся без него в России. Теперь семья уезжает, — может быть на год, а то и на два: жена его учительница в России.

Я сжимаю Танину руку.

— Вам жаль с папой расставаться?

— Жаль, — отвечает Таня. — А папа нас очень жалеет. Он вчера целый вечер плакал.

Пройдя под железнодорожной насыпью, мы выходим на пляж. Рядом, в ручье, впадающем в море, расплывшемся дельтой, прачки полощут белье. Вдали тянут сеть голоногие рыбаки. Подошвы гор у моря — в голубом тумане.

— Какой песочек славный! — говорит Таня.

От нагретого песка здесь теплее, над ним колеблются стеклянные струи. Город Киавари, у гор, слегка переливается: очертанья домов текут.

— А вон папа! — говорит Таня, показывая в сторону рыбаков. — Видите, сидит с Машей.

Маша его годовалая дочь. Мы подходим сзади, он не замечает нас. Но я вижу, как целует он свою девочку, как покачивается с ней, точно напевая что-то.

— Послушайте, Таня, я не могу с вами идти... Я забыла, мне домой... надо.

Я поворачиваюсь и, не подымая глаз, иду назад, к проходу под линией. Не хочу я, чтобы Таня видела и мои слезы.

Человек сильно, сильно меняется... Вспоминая себя десять лет назад, я с трудом восстанавливаю, что это я, никто другая. Я была тогда молода, горяча, и очень многого хотела для себя. Не могу отрицать, я была чувственна и славолюбива. Моя любовная жизнь началась рано, и среди серьезных увлечений я знала и так называемый «угар страстей».

Одно из очень тяжелых воспоминаний моей юности — самоубийство студента, которого я завлекла. Его смерть и сейчас встает надо мной тяжким укором. Многое в своих последующих страданиях я считаю карой.

Главная кара — это моя жизнь с мужем. Отлились кошке мышкины слезки. Муж был моложе меня. Раньше я мучила тех, кто слабей в любви, теперь я попалась. Я страдала много — что уж скрывать — и от его отношения, от измен, но молчала. Родился Боря, пришлось бросить сцену. С Борей в жизнь мою пришло совсем новое, и такое сильное, сладостное и завлекательное, что я даже не ожидала. Бог с ней, со сценой, славой!

Но, видимо, мне не дано этого счастья. Зачем буду я вспоминать о том ужасе, который пришлось перенести, о борьбе за Борю, когда муж окончательно бросил меня, о том, что мы, как звери, вырывали его друг у друга, крали, вовлекали пятилетнего ребенка в нашу распрю.

Я была способна на подлость, подкуп, предательство. Господи, все это так, но Ты знаешь, что это делала ослеплен-

ная, отчаявшаяся женщина, забывшая все. Быть может, поэтому, Ты смилуешься над ней.

Зато я научилась понимать всех, у кого дети. Всякое горе, связанное с ребенком, делает мне человека близким. Пусть пошлет Всевышний радости детям.

Александра Николаевна реже получает письма, но чаще ходит за ними.

Почта от нас в двух шагах. Никогда раньше не видала я такой почты. Дважды в день старичок бредет на станцию с сумкой, приносит десяток писем — большинство русским. Выдают без разбору, кому угодно. Старик не умеет прочесть ни одной русской фамилии. Если нет его сына, трудно добиться толку.

Александра Николаевна ходит за письмами с неизменным мундштуком во рту, спокойно поглядывая на ребятишек, скачущих у колодца.

— Niente! — отвечает почтмейстер.

Она так же покойно возвращается, сидит у себя в комнате. Я пробовала звать ее пройтись, в горы — она никуда не выходит. В ее комнате туман от дыма, а вечером появляется фиаска красного вина, и к двенадцати Александра Николаевна выпивает ее, с помощью двух-трех эмигрантов.

— Зайдите ко мне, — говорит она, — вы считаете меня пьяницей, но это ничего. Мало ли за кого меня здесь считают.

— Вы пьяница и есть, — говорю я улыбаясь. —Что тут считать? Мне только странно, почему вы сидите в духоте, табачище, когда есть такое море?

— Прежде я была умная и честная, — говорит Александра Николаевна, уставясь на меня покрасневшими глазами. — Теперь все это прошло. Я третьяго дня на скалах заснула, да утром только проснулась. Всю ночь продрыхла.

— Все-таки, пойдем на воздух.

Я беру ее под руку, свожу вниз, по нашей темной и крутой лестнице. Эмигранты остались допивать пиво.

— Да, тут легче дышать, — говорит она.

Мы идем мимо домов итальянцев, где спят уже эти простые люди, земледельцы, рыбаки. По древнему мостику, узенько-

му, крутому, переходим ручей. Долина между гор, откуда бежит он, темна, полна ночного бархата. Таинственно журчит ручей. На горе повисли огромные звезды — так именно кажется, что повисли.

Мы выходим к приморскому шоссе. Александра Николаевна кутается в платок.

— Может напрасно, — говорит она, — а я вам все-таки скажу. У меня с мужем разрыв полный. Конец, я чувствую.

Из темноты выделились две фигуры. В одной узнаю Леечку. Другая — Сеня, анархист. Они тоже что-то с жаром говорили. Увидя нас смолкают.

— Леечка! — окликаю я.

— Да, это мы. Ах, здравствуйте, я в темноте вас не различила! Какая ночь, не правда ли?

Я не вижу ее лица, но чувствую, что она смущена.

— Леечка, — говорю я, — нехорошо по ночам гулять с анархистами.

— Ах, что вы говорите, мы же немножко только прошли к скалам. Ну, Сеня, правда?

— А на скалах наверно целовались, — говорит Александра Николаевна.

— Это что-то ужасное они про нас выдумали, правда, Сеня?

— Ничего подобного! — отвечает Сеня, молодой бритый человек с огромной головой и еврейской нервностью. — Если бы хотел целоваться, то не спрятался бы для этого на скалы.

— Приходите завтра купаться, если будет хорошее море! — кричит из темноты Леечка.

— Они врут, что не целовались; это уж наверно, — говорит Александра Николаевна. — Наши всегда на скалах целуются.

Мы идем теперь по тому шоссе, по которому въезжала я сюда две недели назад. Слева черная стена скал; справа море, чуть бормочущее.

Мы сели на утесах при дороге, в месте, где сама природа позаботилась сделать скамью. Здесь можно сидеть очень удобно, облокачиваясь спиной о камень. Перед глазами ночь, море, золотые огоньки Сестри.

— Муж написал мне, — говорит Александра Николаевна, — что не может между нами быть прежнего. Он говорит, что

прежння жизнь — обман. Он не хочет так продолжать. Ему нужна свобода.

Она подходит к обрыву и бросает вниз папиросу. Огонек прорезывает тьму дугой и пропадает. Александра Николаевна обертывается.

— Он меня обманывал, а теперь ему нужно, чтобы все происходило свободно. Я ничего не говорю. Конечно, пусть меня бросает.

Она садится, кладет голову на камень и несколько времени сидит молча. Я хочу что-то ей сказать, обнять ее, поцеловать, но не выходит. Жму лишь руку.

— Тогда зачем же было тянуть все это, — говорит она, точно про себя. — Я его не удерживала.

Ночь уходит все дальше. Звезды изменили места: одни заходят за чернеющий край скал, другие появляются над Сестри. Влажный, темный ветерок набежал с моря. За туннелем свистит поезд.

— Ну, — говорит Александра Николаевна, очнувшись. — Скажите ж мне, что делать.

Я знаю, что надо делать: надо все пережить, измучиться, и полуразбитой выйти снова.

— Терпите, — говорю я. — Милая, терпите.

Она вновь кладет голову на камень.

Я продолжаю:

— Бог дал нам страдания для неизвестных целей. Не нам их понять. Мы можем лишь любить.

Помню я, что прежде, давно, когда я была известной, богатой и красивой, все в жизни сосредоточивалось для меня на мне самой: люди столько меня интересовали, сколько восхищались моим пением, ухаживали за мной и льстили. Часто я понимала, что лесть груба, корыстна; но такова ее сила над нами: всегда наше сердце на стороне того, кто хвалит.

Во всяком случае — не ездившие в Большой театр, не аплодировавшие и не подносившие цветов были для меня ничто. Я не желала им зла. Но во мне было уже некоторое недовольство теми, кто предпочитал моему пению науку, литературу, живопись.

Так было давно. А с тех пор, как из известной певицы я превратилась в бездомную бродягу, из года в год менялось мое отношение к людям.

Я заговорила об этом потому, что здесь, в приморской итальянской деревушке, чувство это проявилось во мне сильнее.

Да, меня интересуют и прачки, полощущие белье в ручье, и работники, собирающие оливки; и рыбаки, и каменотесы, что вечно чинят дорогу в Сестри. Дети и старики, два раза в день выходящие к морю, и стрелочница Тереза с четырьмя малышами — полуголодная, но всегда бойкая, живая, энергичная. И наконец, наша Мариетта.

Мариетта меня занимает в особенности. Ей четырнадцать лет, она тоненькая, с черными продолговатыми глазами и этрусским профилем. Она является к нам утром, убирает комнаты — с той легкостью, грацией движений, которые свойственны ее расе. Она же нам готовит. На помощь ей приходит бабушка — сказочного вида старушонка, — и вдвоем они жарят и варят на кухне. От жара Мариетта розовеет. Глаза ее блестят ярче.

Отслужив, она становится снова ребенком, прыгает с детьми у колодца, бегает по пляжу с девицами Бокка, ее приятельницами.

Александру Николаевну она очень любит, называет Саша. Знает историю с мужем и мужа не одобряет: как у многих в Италии, у нее простой и прочный взгляд на брак.

— Ну что, как Александра Николаевна? — спрашиваю я утром, когда она убирает мою комнату.

— Piange sempre. Ночь не спала.

— А госпожа Бокка?

Мариетта хохочет. Бокка, мать ее подруг Розы и Цецилии, ее личный враг, как и всех почти в Барассо. Она богатая (у ней вилла рядом с нами), но скупая и злая. Здесь считается хорошим тоном сделать ей гадость.

Мариетта развеселилась. Ночью у Бокка украли курицу. Она сегодня в обмороке, Роза с Цецилией отхаживают ее. Мариетта изображает, как Бокка лежит на постели и стонет; O, mia gallina!

Приотворяется дверь Александры Николаевны.

— Тиночка!

Мариетта сразу вскакивает и бежит. Лицо ее серьезно.

Через минуту она стучит башмачками к почте.

К завтраку Александра Николаевна выходит худее, бледнее обычного. Как всегда с папиросой.

— Мариетта, еще фиаску к вечеру!

— No, — говорит она умоляюще: — Саша не надо. — Vino vi fa male.

— Ничего, милая, тащи. — Все равно, — говорит она, обращаясь ко мне, — я тут последние дни. В Париж еду. Больше не могу.

После завтрака она запирается, и читает до одурения.

На другой день Мариетта ведет меня к госпоже Бокка, где я должна снять комнату.

Калиткой мы входим в сад с пальмами, я вижу внушительную виллу, ступаю по дорожке, усыпанной гравием, в блеске солнца — и исполняюсь почтения к владелице всего этого.

Две миловидные девушки возятся в саду — развешивают на солнце старые платья. Мариетта подмигивает им и мне. Это ее приятельницы Роза и Цецилия, которых мать держит сурово.

Роза делает мне реверанс. Она старше и красивей Цецилии. Но у обеих так черны волосы, как только могут быть у итальянок.

— Мама, вероятно, еще не одета, — говорит она на плохом французском языке.

— Ничего, — покажите комнату.

Роза и Цецилия весело бегут вперед. Видимо, рады оторваться от работы, посмотреть нового человека.

По лестнице, выложенной мрамором, подымаемся во второй этаж. Весь он пуст. Мне предлагают две комнаты — одну с видом на море, другую в горы — за пятьдесят франков. Хотя давно здесь никто не жил, но обстановка хорошая, светло, приятно. Я соглашаюсь, и меня ведут вниз, к Бокка.

Госпожа Бокка встретила меня в том растерзанном виде, какой бывает по утрам у зажиточных и бездельных итальянок. Ей за сорок; видимо была красива, теперь толста и плачется о лирах, о возможных убытках и огорчениях.

Я доказываю, что никаких ущербов не нанесу и отвечаю за целость каждого стула. Она сыплет скороговоркой, и кажет-

ся, уверяет, что от такой женщины, как я, она ждет лишь хорошего.

В дверь подглядывают Мариетта и Цецилия. Верно они щиплются, тихо взвизгивают. Роза покорно стоит рядом с матерью. Я подымаюсь.

— Значит, с завтрашнего дня.

Как бывает иногда, когда наденешь новое платье, или въедешь в новую квартиру — чувствуешь себя иным.

Я вышла в залитый солнцем сад, где цвели розы, и мне представилось на мгновение, что я в Ницце, что вилла эта моя собственная, что из-за угла выскочит сейчас Боря; что с мужем мы живем хорошо, как было давно, в первые месяцы замужества.

Это мгновенное виденье взволновало меня, мне не захотелось возвращаться домой. Я перешла через каменный мостик и пошла по течению ручья, в долину.

Небо было голубое, с разорванными облачками. Тень оливок трепетала вокруг. Пели птицы, ящерица пробежала по камню на припеке. В другом месте я встретила первый проблеск весны: горсть фиалок. Я сорвала их, стала нюхать, и их сладкий, сентиментальный запах снова взволновал меня: я вспомнила букет таких же пармских фиалок, который поднесли мне раз в Большом театре, за Татьяну. Но Бог с ними, с воспоминаниями. Я шла дальше и дальше, ущелье суживалось; с обеих сторон тянулись оливковые рощи и сосновые.

По очень крутой тропинке я стала подыматься вверх. Мне хотелось добраться до горной деревушки Алессио.

Скоро оливки остались внизу. Я вошла в область сосен. Они зеленели особенно, — не так, как у нас — их зелень на голубизне неба здесь поразительна.

Я сидела на камне, меня грело солнце. Я вдыхала смолистый воздух, смотрела, как орел плывет в небе, слушала таинственные голоса птиц, перекликавшихся в горах; видела, как с тяжестью на голове подымается снизу девочка — она идет в Алессио. И со мной ничего не случилось. Но мне хочется упомянуть об этом ясном дне, предвестнике весны, о том, как я сидела на камне и смотрела на девочку из Алессио, о той тихой и кроткой силе, которая нисходила тогда в мое сердце.

———

Александра Николаевна заходила ко мне прощаться, и наставляла Розу и Цецилию, чтобы хорошо за мной ухаживали, были внимательны и заботливы.

Потом она крепко пожала мне руку, мы поцеловались, и снова тем деловым тоном, каким она говорила в день моего приезда она сказала:

— Провожать меня не надо. Это сентиментальности.

Русские не знали, когда она уезжает, но мы с Мариеттой пронюхали, что с вечерним, — яко бы в Нерви: и пришли на вокзал.

Было пустынно, уныло на нашем полустанке. Два фонаря, нетрезвый начальник в красном кепи, с огромной трубкой. Гул моря, далекие, золотистые огни Киавари, черная бездна неба в звездах. Мне почему-то представилось, что и здесь, как в России, неуютно и печально жить людям, встречающим и отправляющим поезда.

Когда подошел treno omnibus, Александра Николаевна вошла в купе, в третий класс, я вдруг почувствовала, что осталась теперь совсем о д н а в этой стране.

Я подала ей в окно букетик фиалок, еще раз пожала руку. Мариетта быстро вскочила на подножку, поцеловала.

Так мы ее проводили. Поезд omnibus, останавливающийся на каждом полустанке, потащил ее в Геную, а оттуда в Париж, к новой жизни, мы же вернулись к нашей малой, где главные события — каково море, есть ли солнце, задует ли трамонтано.

Впрочем, как и везде, — на нашей вилле тоже оказались свои интересы, даже страсти и борьба. Так оно и должно быть, конечно, стоит лишь внимательно взглянуть вокруг.

Госпожа Бокка собиралась выходить замуж, а у Розы шел роман с русским студентом. К Бокка приезжал из Флоренции синьор Морозо, и тогда все в квартире чистили, мыли, девушки полдня ходили с подоткнутыми подолами и вытаскивали на нижнюю террасу мебель. К обеду жарили курицу. Являлась фиаска вина. Девушки ненавидели Морозо, боялись что он станет вотчимом, и вообще только и мечтали, как бы поскорее удрать от матери. Строили даже планы — бежать в Париж.

Этому способствовало и то, что Роза полюбила студента. Мать слышать не хотела о браке. Она ждала для дочери мил-

лионера, как некогда было с ней самой: она была замужем за первым богачом Киавари, покойным отцом Розы и Цецилии. Она же его разорила, забрала остатки состояния, бросила: он умер чуть не на улице.

Во все эти дела посвятила меня Мариетта. Она перешла ко мне по наследству, и каждое утро я слышала ее легкую поступь у двери, осторожный стук — и в комнату заглядывает ее черненькое, острое личико с этрусским профилем.

— Vuole stufa? — спрашивает она неизменно.

«Хочу ли я печку» — какой милый язык! Я ее хочу — и, пока одеваюсь, Мариетта бросает в железную печку шишки, хранящиеся у меня в углу комнаты, в мешке. Их оставил нам уехавший русский, которого итальянцы называли Signor Barbalov за его бороду. У нас шишки зовутся pigni del Signor Barbalov.

Pigni трещат, мечут искры. В комнате появляется тонкий запах ладана. Мариетта накладывает угля, а я отворяю ставни. Мое удивление немало: в горах, и у нас в Барассо, белая белая изморозь — снег.

— Это бывает, — объясняет мне Мариетта. — Это ничего, на несколько часов.

И, взбивая мою постель, она весело рассказывает, что сегодня все ходили в Барассо на охоту. Птицы боятся холода, спускаются с гор и делаются такими вялыми, безжизненными, что их можно брать руками. В прошлом году она сама поймала несколько штук.

Я выхожу в другую комнату — она очень светлая, с видом на серо-зеленое море. По насыпи проносится курьерский из Генуи в Рим; в это время к Мариетте пробралась маленькая Лелия, четырехлетний карапуз, племянница Бокка. Мариетта смеется.

— Русские зовут Бокка жабой. Я и Розина научили Лелию, она вчера dice: «тетя Бокка жаба». Бокка domandala: «что такое жаба, cosa vuol dire жаба». Мы говорим: «русское слово, так русские называют жен».

И Мариетта заливается, тискает Лелию. Она счастлива, что удалось подложить Бокка свинью.

— А как же, Мариетиночка, дела у Розы со студентом?

Мариетта хихикает: из чего я заключаю, что дела не плохи.

— Бокка не позволяет замуж. Он ее украдет vuole rubarla. E poi scappare a Parigi.

Я знаю, что scappare a Parigi мечта не одной Розы, но и Цецилии и Мариетты. Париж кажется им необыкновенно прекрасным городом, центром мира, красоты, роскоши, великолепия.

Хоть очень меня занимают переливы, узоры жизней вокруг, и я переписываюсь с Александрой Николаевной, часто и помногу говорю с Леечкой и ее анархистом, целую Розу, все же не нужно думать, что меня не посещает тоска и мучительное томление: всегда по одному — по Боре. Как я ни стараюсь привыкнуть к мысли, — что для меня нет его, — мне все же очень трудно это сделать. Вообще — увещевать на скалах Александру Николаевну — одно, а управлять своими чувствами — другое.

Я помню, например, один вечер.

Я вышла, по обыкновению, к морю. Садилось солнце. По всему нашему побережью был разлит тихий, розовеющий свет. В ущельях фиолетовела тень. В двух-трех местах нестерпимо блестели стекла.

Из туннеля вылетел поезд, мимо меня пробежали знакомые вагоны, и, как всегда, на последнем, коричневой фанеры, надпись: «Paris—Rome».

Я шла по самому краю берега. Там, где садилось солнце, в прозрачном воздухе я вдруг заметила снежные вершины — это приморские Альпы, у Франции, они являются иногда, как видения, в очень тихие и прозрачные вечера.

Я чувствовала, что от этих гор, от поезда, умчавшегося в неизвестность, от туманно-прекрасной музыки света я впадаю в лирическое волнение. Быть может, будь я поэтом, я стала бы слагать стихи, в этом одиночестве, у моря. Но у меня лишь теснило грудь, я напевала что-то; в горле стояли слезы.

Волны нежно лизали песок. Они набегали чуть слышно, стеклянной влагой, с легким шипением спрядывали. Тонкой шелковой пеленой оставался на песке их след, переливаясь

небесной лазурью, розовыми отсветами. О, как прелестны эти закатные шелка моря!

Потом все угасло. Стемнело, я осталась одна, без этих радужных фантасмагорий; по сыпучему песку я прошла к камням, у линии. Я ощутила вдруг такую раздирательную тоску, что мне захотелось закричать на все прибрежье, на всю прекрасную, но для меня сейчас ненужную страну: Боря, Боря! Боже мой, если бы его увидеть, хоть раз.

— Due, —сказал мне почтмейстер, подавая два письма. — Anche una stampa.

Стампа эта оказалась выписанной из Рима книгой, а одно письмо от Александры Николаевны. Я вскрыла его, и читала, проходя по дорожкам нашего сада. Другого не успела прочесть; подбежала Роза, приколола мне на грудь несколько мимоз, и повела к себе.

— Синьора Вера — говорила она, — мамы нет, она во Флоренции у Морозо, я хочу с вами посоветоваться.

И присев у себя на кровати, блестя глазами и волнуясь, Роза рассказывала мне, как ей опостылело жить у матери, видеть Морозо, как ей хочется вырваться. Но она должна бы уехать . . . не одна. (Роза смутилась, тонкий румянец разлился по ее лицу). Я русская — она не станет скрывать, она любит одного молодого русского. (Роза вдруг обняла меня, спрятала в плече зардевшееся личико и стала целовать мою шею).

— Ну, хорошо, — говорю я. — Что же дальше?

Она хочет спросить меня, как русские смотрят на девушку, которая согласна, не венчавшись, бежать в Париж. У них, например, к этому отнеслись бы строго. А вдруг жених подумает, что она какая-нибудь такая, легкомысленная?

Все это было довольно курьезно и по-детски, но с девушек, видевших на своем веку только море, солнце, да глупую мать, трудно большего и спрашивать. К тому же черные глаза Розины так сияли, что она вызывала во мне полное сочувствие. Я ее успокоила. Ничего, если поедет в Париж и невенчанная. Русских бояться нечего. А что в Париже может быть трудно из-за денег, — пусть имеет в виду.

В заключение я повела ее к себе завтракать, — и там застали мы еще двух девиц: Леечку и Катю. Я была очень ра-

да, велела Мариетте притащить вина, взять побольше сыру и сбегать к Кармеле за шоколадом, апельсинами, которые муж Кармелы выращивает у себя в саду: нам приносят их на ветках, с листиками.

Итак, получился дамский банкет. Мы растворили окна, в комнату врывался солнечный ветер, виднелась синева моря, и чудесно белело на ней абрикосовое дерево в цвету. Леечка выпила вина, раскраснелась, смеялась, и говорила, восторженно блестя глазами: «Ах, какие прекрасные погоды!»

Худенькая Катя, слегка задыхаясь от приступа астмы, сообщила мне, что «эмигрантская публика в Нерви устраивает вечер в пользу кассы» — и не могу ли я спеть на нем.

Я была несколько удивлена. В первую минуту мне стало даже неприятно. Представилось, что, когда я выйду, все первым делом подумают: «А, отставная певица!» И в их снисходительности будет для меня очень горькое. Но потом я взглянула в открытое окно, в котором ветер вздувал легкие занавески, увидела рыбацкую лодку под оранжевым парусом, — что-то простое, светлое вошло в мою душу и мгновенно ее состояние изменилось. «Гордость, самолюбие — отголоски прежнего», подумала я. «Этим Катям и разным неведомым «товарищам» действительно нужны деньги, и я им помогу, а буду ли иметь успех или нет, посмеются ли надо мной, или не посмеются — это неважно, это все очень пустое».

И я весело согласилась. Мне даже понравилось, что поеду в Нерви, увижу новых людей, новые места — немного освежу свои впечатления.

На том мы и порешили.

Обед закончился фруктами, потом девицы висели на подоконниках, рассматривая, как отходит в Сестри кукушка —омнибус, как в саду при траттории итальянцы играют в шары — bocce, — и наконец, ушли.

Я совсем забыла про второе письмо, полученное сегодня, и только теперь вскрыла его.

Дальняя родственница, старушка, с которой у меня сохранились добрые отношения, писала, что муж мой заболел, и врачи рекомендовали ему Нерви. Он взял с собою Борю.

Я глубоко передохнула. Так вот где, в Нерви!

Я накинула платок, захватила шоколад, заперла свои комнаты и чуть не бегом бросилась на Сант-Анна. Может быть, я

выбрала ее потому, что ходьба в гору утомляет, или же инстинктивно хотелось простора, далекого вида; я была права, выбрав именно этот путь.

Не могу рассказать, как хороша тропинка на Сант-Анну теплым солнечным днем, после полудня. Надо самому видеть тени оливок, — тонкие, кружевные, посмотреть на молодых лигуриек, работающих в винограднике; ощутить золотой припек на южном склоне горы, взглянуть на голубоватую бездну воздуха над морем, на само море, окутанное туманным блеском, — прислушаться к шороху ящериц, к нежному гудению телеграфа.

На одном из поворотов тропинки я увидела следующую сцену: на поваленном телеграфном столбе сидят Леечка и Мариетта. Мариетта читает вслух — Льва Толстого!

Увидев меня, они зарделись, захохотали, и Леечка стала восторженно жать мне руки. Но я сказала, чтобы продолжали, а сама пошла дальше.

Я забралась в сосновый лес над развалинами монастыря, и легла на каменистый склон, обращенный к югу. Сквозь стволы я видела только синее море, над ним голубое небо, яркую зелень сосен. Это были волшебные минуты. Снова, как бывало это у моря и в горах, я почувствовала, что дышу тысячею грудей и вижу тысячами глаз. Ветерок, шумевший в соснах, гудение проволок, запах цветущего вереска, море, скалы, итальянки, собиравшие хворост и перекликавшиеся где-то еще выше меня — все это был один светлый, солнечный дух, в котором я плыла, как в райской ладье. Мне казалось, что и Боря никогда не уходил от меня, он со мной, в моем трепещущем, изливающемся светом сердце.

———

Я ехала в Нерви не без волнения. Я так засиделась у нас в Барассо, так привыкла к полудеревенской жизни, что меня стесняло предстоящее выступление.

Кроме того, я упорно вспоминала о Боре, и это теснило мне сердце. Я думала: не нужно, конечно, его встречать, растравлять старые раны. В то же время не могла не сознаться, что мучительно хочется мне его видеть.

В Нерви зажигались огоньки, когда подошел наш поезд. Море хлестало в скалы неприветно, на горизонте было хмуро.

Жутко становилось за далекий пароход, шедший из генуэзского порта, быть может, в Америку. Настанет ночь в безбрежном, свинцовом море. Одиноко будет мореплавателям.

На вокзале меня встретила Катя и повезла в Grand Hotel. Она была чисто одета, подтянута, и по ее виду я сразу поняла, что здесь курорт, настоящее европейское место. В вестибюле Grand Hotel'я я почувствовала это еще сильней: электричество, цветы, плетеные кресла для отдыха, элегантный портье — все это вдруг стало мне приятно. Я улыбнулась на себя и вспомнила, что подобное чувство бывает иногда, когда после долгого житья в деревне попадешь в столицу. У меня явилось это праздничное, столичное настроение.

Катя тотчас убежала, сказав, что зайдет в девять перед самым концертом. Я же прошла к себе в номер, вымылась, взяла ванну и стала одеваться. Не знаю почему, у меня все время было какое-то сладко-грустное ощущение. Казалось ли мне, что я помолодела? Что во мне есть еще девическая стройность, еще глаза блестят? Или действовала так новая обстановка, новые впечатления, темный вечер с раскрытой на балкон дверью?

Не могу сказать, не знаю. Но, когда я спустилась в обеденный зал отеля, чистая, по-европейски одетая и не очень плохая собой, когда села за столик с цветами и вокруг себя услыхала разноязычный говор, мне показалось даже, что пришла часть былого. Да, верно не совсем умерла еще во мне певица из Большого театра.

Я взяла себе немного вина, пила кофе, и наблюдала людей. После обеда прошла в гостиные. Тут бегали дети, в одной из зал появился фокусник во фраке, и детвора бросилась занимать места, чтобы лучше рассмотреть. Слегка задыхаясь, окинула я взором эту ватагу: нет, Бори тут не было. А наверно, он живет с отцом тоже в каком-нибудь шикарном отеле, так же вот бегает и смотрит фокусников.

Около девяти, когда я глядела, как красивая испанка метала маленький банк, лакей подошел ко мне, и сказал, что меня спрашивает какая-то барышня.

Это была Катя.

В России меня везли бы в карете, а здесь мы с Катей отправились пешком, по темноватым, узким улочкам Нерви.

Впрочем, и недалеко было. Концерт должен был происходить в летнем павильоне Pension Suisse. Павильон этот имеет вид пагоды, помещается в саду. Странно мне было подходить к зданию, так мало похожему на театр. Ветер посвистывал в пальмах, магнолиях; далеко в темноте шумело море.

Когда мы вошли в артистическую, итальянская певица, с блестящими глазами и в большом декольте, входила с эстрады под плеск аплодисментов. Грудь ее дышала сильно. В ней было то знакомое мне наслаждение успехом, которое сразу перенесло меня в Россию, в Благородное собрание или Консерваторию. Кланяясь, улыбаясь, она дважды выходила на вызовы.

Я помню, что, когда мне приходилось выступать вот так, в каждой певице я видела соперницу. Аплодисменты *ей* казались некоторым ущербом мне. И оттого я всегда волновалась.

Но сегодня этого не было. Я пила кофе, смотрела, как итальянка взволнованно, счастливо болтала с рецензентом генуэзской газеты — и все это казалось мне туманным, далеким, вызывало улыбку. Но это не была насмешка. Нет, другое.

Когда я сама вышла на эстраду, то первое, что увидела — фигурку Леечки с анархистом в проходе. Затем — обычная волна голов, — перед которой прежде я трепетала, а теперь на сердце моем было легко, просторно и несколько грустно. Я пела без всякого усилия, и, как мне казалось — неплохо. Были минуты, когда я очень задумывалась сама, и кажется, эти пассажи доходили верней. Вышло странно: оказалось, у меня есть какое-то слово, и я могу обратиться с ним к этим людям, и сказать его могу лишь в пении. За мелодией, за смыслом арии в моей душе звучала иная песнь и мне казалось, что она доходит до слушающих: моя вечерняя песнь, песнь прощания и напутствия. Снова мир предо мной раздвигался, и я видела не эту лишь залу, сияющую электричеством, — я прижимала к своему сердцу и лобзала всех, кто жив, кто счастлив и несчастлив, кто придет еще в жизнь, кто добр и зол, чист и грешен.

Мне довольно много аплодировали, но дело было не в аплодисментах. Я ощущала свою связь с людьми. В артистическую вбежала Леечка, вся раскрасневшаяся, с блестящими глазами.

— Ах, как вы чудно поете! Это так замечательно, вы такая прелесть!

И она трясла мне руки, горящими глазами глядела на меня.

— Отчего вы никогда не пели в Барассо?

Анархист Сеня решительно и несколько трагически поблагодарил меня.

Разумеется, я долго не могла заснуть у себя в Grand Hotel'e. Меня волновали сладкие и туманные чувства. В воображении вставали картины былого — и странная вещь, сегодняшний вечер еще отдалил меня от этого былого — все дальше уходило оно в страну воспоминаний. «Так истает, и уйдет, в конце концов, вся жизнь», думала я, переворачиваясь. «Вся она обратится в облачко, сольется с голубым эфиром, из которого я возникла».

С этими мыслями я заснула, наконец, и проснулась поздно. Светло-сиреневое море было видно в балконную дверь. Голова у меня была ясная, на сердце чувство, что вчера произошло что-то хорошее. И сейчас мне по-детски понравилось, что рядом с кроватью телефон, и я могу заказать кофе, протянув лишь руку.

Такова оказалась моя поездка в Нерви. Я пробыла там два дня, и должна прибавить к описанному еще две встречи, резко, навсегда запавшие в мою память.

Перед вечером я зашла в одно из маленьких кафе, где бывает итальянская мелкота, идут споры о чентезимах, где кофе неважен, но нет иностранцев.

Зажгли газ. Я сидела у двери, глядела на улицу, и вдруг услышала пение. Пел женский голос, хороший, но усталый, как бы внутренне надтреснутый.

— Вот, — сказала я подошедшему камерьеру, — как у вас в Италии поют. Точно из оперы.

— Это одна старушка, — ответил он. — Она действительно из оперы.

Пение окончилось. В кафе, держа за руку старика, вошла старая женщина — некогда известная певица, как рассказал

мне потом камерьере. Теперь же она зарабатывала хлеб насущный, для себя и слепого мужа — пением на улицах.

Она протянула мне руку за подаянием.

Моя вторая встреча — за час до отъезда домой, в Барассо.

Я приехала на вокзал рано, и мне стало скучно дожидаться поезда. Я спустилась вниз, на знаменитый приморский променад. Это — хорошо устроенная дорожка вдоль моря, с перилами, скамейками в местах, где гуляющий должен устать. Есть тут и кафе, и входы в парки отелей. Одним словом, все очень порядочно, но все же рядом море, и оно одно скрашивает все курортные измышления.

И вот на этом променаде, в день 25 февраля, я собственными глазами увидала моего сына Борю, после трех лет разлуки.

Я сразу его узнала, хотя он сидел у самого моря, спиной ко мне, и возился в песке. С ним была барышня, видимо гувернантка. Он хохотал, и по тому, как он смеялся, и как сидел на корточках, я сразу, безошибочно поняла, что это он. Я опустилась на скамейку, и припала к ее спинке. Что я тогда чувствовала? Что мне об этом сказать?

Меня скорее поймут матери; к ним легче дошел бы мой вопль, мое рыдание, пронзенное такою нежностью, что минуту мне казалось — сейчас я умру.

Но все это происходило внутри. Я не выдала себя. Я знала, что подойти к нему, обнять, поцеловать, сказать, что м о й он — нельзя. Начнется весь прежний ужас, весь позор. Он же счастлив. Он маленький, он меня забыл.

Да, легко так рассуждать, — но только мне было нелегко. Все, что потом было — как я издали его перекрестила, повернулась, пошла к поезду, села в вагон и из вагона еще раз увидела его на побережье: все это происходило точно и не со мной, а с какой-то тенью, призраком.

Но затем — все это прошло, и я снова очутилась в Барассо, у синьоры Бокка, и Мариетта по-прежнему по утрам стала приходить ко мне и спрашивать «Vuole stufa?», и мы по-

прежнему топим печку pigne'ами синьора Барбалова, слегка пахнущими ладаном.

Впрочем, скоро будем топить меньше: приближается весна. Больше фиалок в ущелье, на Сант-Анне зацвел вереск, в голубоватых далях над морем появилось что-то волнующее: быть может, это мы навязываем природе свои весенние томления. Но бледнорозовые цветы персика и белый миндаль ясно говорят о марте. Говорят о нем и весенние бури: недавно я видела поразительную картину. Шторм при ярком солнце. По морю летели и кипели валы белой пены, как дикие снежные кони. В Сестри пройти было нельзя.

У нас, в доме Бокка, семейное горе, или семейная радость: Роза сбежала-таки с русским.

Похищение ее было обставлено романтически, не без участия анархиста Сени. Он нанял в Киавари автомобиль (я уверена, что в кармане у него при этом был револьвер). Роза ждала в условленном месте, с чемоданчиком, заранее спрятанном в кусты.

Сеня умчал их в Рапалло, где они сели, наконец, в поезд.

Мариетта очень довольна. Главным образом тем, что Бокка двое суток не вставала с постели и выла на все побережье.

Сеня с Леечкой сошлись окончательно — видимо, Александра Николаевна была права, упрекая их за подозрительное посещение скал.

Доходят до меня вести и о ней. Как слышно, она перестала пить, и снова стала на линию серьезной русской женщины. Кроме того, занимается религиозными вопросами, и ходит на лекции популярного проповедника. Я вспоминаю ее серые глаза и думаю, что недаром отец ее был народник-сектант.

Я знаю, что изредка мы будем с ней переписываться; потом, наверно, потеряем друг друга из виду. Я от души могу пожелать ей доброй, правильной жизни.

Пусть пошлет Господь ее и мне.

Поездка в Нерви провела в моей душе новую черту. Мне странно вспоминать теперь былое, так оно далеко. Даже мысли о Боре реже посещают меня. Тот мальчик, которого я знала и любила, для меня отошел в туманную, как бы идеальную страну. Его образ расплывается, тает. Тот же юноша, в которого через несколько лет обратится мой сын, — будет

уже иным человеком, уже он не взглянет на меня, как на мать.

Да и трудно ему будет признать во мне мать.

Но что бы там ни было, я живу. Я ощущаю даже радость жизни, — она все больше заключается для меня в клочке синего неба, в фиалке, глазах влюбленной девушки, в белой пене моря, в смехе ребенка.

Каждый вечер, перед заходом солнца, я гуляю по пляжу. Иногда, в ясные дни, за морем вижу снежные Альпы. Я люблю дожидаться скорого поезда в Париж, и когда он проносится по насыпи, махаю ему платком и говорю: «чау, чау!» — прощай!

Люблю дожидаться вечернего звона в нашей церкви. Я не хожу туда. Моя церковь, мне кажется, весь этот мир. Когда звонят в шесть часов к Аве Мария, а я прогуливаюсь по берегу, и когда я бываю в серьезном настроении, я вспоминаю, и как бы молюсь за близких, и не очень близких моих.

Счастье — дар Божий. Пусть сойдет этот дар на Леечку, Катю, Розу, Мариетту.

Да пошлет Господь светлой кончины певице, встретившейся мне в Нерви. Я желала бы, чтоб тот, кто был моим сыном, обратился в настоящего человека.

А когда я возвращаюсь с этих прогулок, со многими я кланяюсь, разговариваю. Может быть, это неверно, но мне кажется, что я не уеду отсюда, что я стала уже частью этого маленького селенья, и меня признали здесь за свою.

Москва
1912 г.


II

РАФАЭЛЬ

Мирен сон и безмятежен
даруй ми...

Молитва

I

Радуга вознеслась. Капли еще падали, расплавленным серебром. Под рыже-золотистой тучей, набухавшей, клубившейся, было сине-стальное, и Сабинские горы нежно, призрачно белели на темном фоне. Смутные тени бродили по Кампанье; выхваченный солнцем, ярко светлел кое-где акведук, руина замка. А вблизи все налилось закатным, золотисто-зеленеющим сиянием. В нем блестела мокрая трава. Пар вставал над болотцами.

Переждав дождь в придорожной остерии, Рафаэль медленно ехал верхом на тонконогом рыжем жеребце с мягко-лоснящейся шерстью. Сегодня, в одиночестве, выезжал он на ардеатинскую дорогу; там осматривал найденный саркофаг и две статуи; а теперь огородами, виноградниками пробирался к городским воротам. До захода солнца надеялся еще поглядеть часть аврелиановой стены, где, как слышал, среди кладки попадались замурованные антики.

Уже близки были стены, с грузными башнями ворот. Таинственные камыши ручья Альмоне, изливавшегося близ стены, шелестели, погружаясь в сон. Вода зачмокала под копытами варварийца — он закусил удила, осадил задом и заиграл сухими, огненными ножками. Рафаэль натянул поводья; и когда конь снова мирно зашагал, вынул из-под плаща сверток, запечатанный восковой печатью с оттиском ле-

тящего Меркурия. Эти стихи занес ему утром арапченок моны Лаураны, поэтессы, племянницы кардинала — всему Риму известной странностями. Она переводила Пиндара, одевалась в черные плащи — наполовину по-мужски — бродила иногда в Кампанье, вслух декламируя. Ее считали как бы вещей.

Рафаэль начал:

Ты в нежности приемлешь образ Бога,
Ты в радости взойдешь в Его дворцы,
Тебе светлей горит звезда чертога,
Тебе дарованы любви венцы.

Но помни, смертный, . . .

«Что сказал бы об этом Бембо!» — подумал он с улыбкой. — «Недаром он считает Лаурану безумной, и. . . посредственной поэтессой, несмотря на всю ее любовь к древности». Но дочитав, вздохнул, и осторожно спрятал сверток. «Облик Сивиллы, грозящей предсказаниями. Но что предсказывать? Мне, идущему одним путем, всю жизнь — одним путем!»

И совсем ослабив поводья, лишь иногда придерживая коня, чтобы лучше разглядеть камни, ехал он вдоль стены. Кое-где кусок мрамора попадался в ней — теплой, драгоценной заплатой: торс, ствол колонны. Недалеко от ворот С. Себастиано, за кустом, выросшим в трещинах, рассмотрел он нежное мраморное тело ребенка, охваченное каменным объятьем. Он остановился, слез. Держа коня в поводу, подошел, долго вглядывался, погладил. Под рукой мрамор казался тающим — светлой божественной природы. Точно вечная жизнь, благоуханная и трепетная, в нем заключена. Видимо, это варварская починка стены Аврелиана, когда хватали первое, попавшееся под руку, чтобы заштопать кладку.

Долго не мог Рафаэль оторватся. Но сова всполохнулась и беззвучно вылетела из расселины. Затрубил военный рожок. Давно угасла радуга, и розовый закат протянул по небу свои шелка. Вершины гор в нем алели. А вблизи уже сгущался сумрак; кой-где туман засинел — над сырыми местами. Пора было возвращаться. И старательно запомнив место, Рафаэль юношески вспрыгнул в седло. Через несколько минут въезжал уже в ворота С. Себастиано. За ним был день, полный исканья, чувств, творенья. Нет, что бы ни писала Лау-

рана, ни одного мгновения, ни вздоха, и ни взгляда глаз уж не отдашь.

Копейщики, при въезде, окликнули его, и преградили дорогу. Но он не вез ничего недозволенного. Да и капитан его узнал, раскланялся.

— Поторапливайтесь маэстро; уже темнеет. В переулках Рима одному небезопасно.

Рафаэль улыбнулся и поблагодарил. О, сколько раз ездил он, и ходил ночным темном Римом наедине с судьбой, любовью, нежностью. Никогда и никто его не тронул. Так и теперь, доверчиво ехал он, среди пустынных садов, в направлении к древним Порта Капена. Стрелами темнели кипарисы за невысокой стеной, мелкой листвой шелестели вечно-зеленые дубы; кое-где золотистые лимоны свешивались — пахло влагой, лимонами, пригретой за день, благоухающей сейчас землей. Недалеко от базилики Нерея и Ахиллея, справа от стены, обделанная в античной маске, бежала струйка воды. Ее принимала мраморная цистерна. Варвариец потянулся к воде. Рафаэль отпустил поводья, дал напиться. Было тихо. На небе с красными космами облаков вырезывалась страшная громада Терм Каракаллы. Прямо вдали, высился Септизониум. Где-то звонили мягко, одиноко. Высоко, под облаками, как далекие вестники, протянули со слабым клекотом журавли. Вода слабо журчала.

— Ну, друг, вперед! — И, тронув коня, рысью поехал Рафаэль к туманному Палатину. Он обогнул его, выехал к церкви Санта Мария ин Космедин. В узеньких уличках пред Тибром зажигались огоньки. В остериях жарили баранину на вертелах. Девичий смех слышался в закоулках. Башмачки стукали по камням. Высунувшись из окон, яростно ругались через улицу соседки.

Рафаэль перебрался через Тибр, древним мостом у острова, и конь медленно, пофыркивая пошел в гору среди бесчисленных закоулков Трастевере. В одном из них, где воткнутый в железную скобу факел то склонял красноватое пламя, заливаемое дымом, то горел ровно, золотисто, — Рафаэль слез и постучал у двери. Сверху отворилось окно; женская голова выглянула, и свежий грудной голос крикнул: «А, это вы мессере! Я сейчас!» И в черном переулке, под звездами, уже вышедшими на небе, юная трастеверинка чрез минуту отворяла

ворота, вводила лошадь, обвевала пришедшего смуглотой кос, нежностью, румянцем. По кривой, скрипучей лестнице вновь они поднялись. На одном из поворотов, в темноте наткнулись на старую бочку из-под вина, засмеялись, он толкнул ее, она присела на край бочки. В небольшое окошечко виден был темно-багровый угасающий закат, да лицо Рафаэля, бледное, томно-напряженное, с блестящими глазами.

— Милый, сколько ждала тебя! — И она обняла, полузакрыв глаза. Через минуту вздохнула, шепнула: — Ну идем, идем. — Встала и повела еще выше, в скромную комнатку с окном на Тибр, с огромной кроватью и Мадонною над ней.

Сияя черными своими древними глазами, она сказала, указывая на Мадонну:

— Ты великий художник. Если ты меня любишь, то напиши Мадонну для меня, а не только для кардиналов и князей.

Рафаэль ответил, что и ее он напишет — в облике Мадонны. Она зарделась и засмеялась. «Я простая цветочница!» Но ее профиль с выточенным лбом, тонким носом, узлом черных кос был достоен классической камеи.

Начало зеленеть за Тибром, и Венера, светлая утренняя слеза, засеребрилась над Сант-Анджело, когда вниз по скрипучим ступеням спускался Рафаэль. Бледность, ласка были на его лице. Конь дожидался. На дворе собака на него залаяла — Рафаэль свистнул, лай прекратился: никогда животные не обижали его. Пес подошел и покорно, с вежливостью лизнул руку, как покорно, холодеющими устами начертала поцелуй трастеверинка.

По пустынному Риму, Яникулом, к Борго Нуово, нес неторопливый конь хозяина, на рассвете. Рим не безопасен ночью. Бывает, темные люди ждут у перекрестков. Дозоры ходят. Тибр кофейно-мутнен, льется — печаля, радуя...

Покойный конь четко ступает. Невозбранно возвращается Рафаэль.

II

Все легли во время в огромном, холодноватом дворце на Борго Нуово. Бледно отблескивали венецианския зеркала с резными амурами; кариатиды сгибали шеи под тяжестью потолка, ткани умолкли, угас переливающийся хрусталь в

люстрах. Лишь золотистый паркет слабо иногда потрескивал.

Но наверху, в небольшой комнате, куда вела витая лесенка, горела еще скромная лампа; у стола, заваленного рисунками, картинами, над тетрадью в красном сафьяновом переплете сидел Дезидерио, земляк и ученик Рафаэля. Он слегка горбился; из расстегнутого белого воротника выходила тонкая, полудевичья шея, и несла голову некрупную, темноволосую, с задумчивыми глазами. Но уж волненья, Рим, работа, — прогоняли с лица простодушный румянец. Ученик был худее и бледнее, чем бы следовало.

Нетвердым почерком Дезидерио писал: «Он не взял меня нынче на раскопки. Я не знаю почему. Впрочем, что я ему — робкий, ничем не замечательный? А хотелось бы с ним быть всегда! Давно полночь минула, его нет. И так каждый вечер. Дни его горят. Ему мало дней. Мало работ, заказов, наблюдений, мало славы и восторга кардиналов, св. Отца. И ночей не щадит он. Редко возвратится ранее рассвета — но всегда юный и всегда очаровательный... Впрочем, иной раз как бы тень, раздумье и мечтательность проходят в нем — он тогда удаляется от всех...»

Отложив перо на минуту, Дезидерио продолжал:

«Наши ученики, от Пинно, первого, до меня, последнего, боготворят его. Иначе и не может быть. Необычайная прелесть в нем. Вчера Ансельмо сказал: если бы Учитель сошел в Ад, за Эвридикой, то достаточно было бы его взгляда, чтобы свирепый Плутон отпустил возлюбленную. Да, взгляд его чарует. Женщины не могут устоять пред ним. Незачем ему играть на лютне, как Орфею, чтобы они за ним следовали. Поклоняясь красоте божественной, он слаб и к земной. И его влекут как дамы римские, как бесстыдные куртизанки, так и цветочницы и простые трастеверинки. О, Боже мой, если бы я обладал гением его... Неужели и я тратил бы ночи на безумства? Впрочем умолкну: не мне судить, или даже понимать Учителя. Он прекрасен. Все, что он делает, безупречно. И быть может, сама жизнь его — каждый ее миг — есть хвала, высший фимиам Творцу, наделившему его великими дарами».

В окне обозначилось зеленеющее небо — тонкий рассвет. Лаяли вдали собаки. Петухи запели. Дезидерио потушил лампу, спрятал тетрадь и собирался уже лечь на бедную свою, полумонашескую постель, когда внизу, по мостовой, разда-

лось цоканье подков — знакомый, острый звук. Он вздрогнул. В легком волненьи спустился вниз в залу, полную еще опалового сумрака. Лишь в подвесках люстр, да в плавном стекле окон начинало бледно струиться и светлеть. Слышно было, как внизу хлопнула дверь, задвинули засов. По лестнице спокойные шаги — и через минуту перед ним Рафаэль.

— Ты еще не спишь?

— Я ожидаю вас, учитель.

Рафаэль улыбнулся — томной, несколько усталой и бледной улыбкой.

— Можно подумать, что ты за мной следишь, или ревнуешь.

Дезидерио смутился.

— Мне не хотелось спать... К тому же... может быть вам понадобится что-нибудь... Все уж легли.

Рафаэль посмотрел на него внимательней.

— Ты слишком много учишься. Стал худеть. Смотри, как бы я не отправил тебя назад в Фоссомброне.

— Этого не может быть, Учитель, — тихо, дрогнув, ответил Дезидерио. — Вы не сделали бы мне дурного...

Рафаэль покачал головой.

— Вот как! Вот как!

Дезидерио прошел за ним в спальню, подал умыться, помогал раздеться. На прощанье Рафаэль поцеловал его в лоб, и провел рукой по нежной, тепло-белеющей шее.

— Иди спать, затворник, — ласково сказал он. — Если бы все мои ученики были как ты, то мастерская моя обратилась бы в монастырь.

Дезидерио покраснел, слегка задохнулся. Затем поцеловал руку мастера и вышел. Вновь — не хотелось идти наверх, вновь он знал, что теперь уж не заснет. И взяв стул, тихонько, чтобы не разбудить, поставил его у полураскрытой двери, сел. Временами поглядывал в комнату, где Рафаэль, глубоко вздохнув, быстро заснул на низком своем ложе, под парчево-золотистом одеялом. Он лежал на спине, соединив на груди руки, и большой, бледный лоб его, в черных кудрях, ясно выделялся на восточном ковре. Синеватые тени легли под глазами. Он был так недвижен, тих в зачинавшемся зеленовато-золотистом утре, что Дезидерио стало даже жутко — точно в легкой ладье отчаливал Учитель к островам блаженных. Но

это не была смерть, лишь сон, ее прообраз, вводящий душу в свои, ему лишь ведомые владения.

Так просидел юноша довольно долго, и когда ушел, солнце подымалось уже за Монте Кавалло. Рафаэль же спал крепко. Он проснулся гораздо позже. Легкие облачка плыли по небу; голубой апрельский предполудень одевал Рим светом и благоуханием.

Темнозеленая ветвь с золотистыми апельсинами, перевитая лентою, с надписью шелком soave — утренний привет поклонницы — лежала на ночном столике художника. На серебряном подносике — записка от Апостолического секретаря; св. Отец ровно в полдень, после выстрела из пушки желал его видеть. «Мы, милостью Божьей Лев X», думал Рафаэль, одеваясь, «во всем намерены походить на бурно-пламенного нашего предшественника. Значит, опять будут торопить, подгонять . . .» Он отдернул занавес окна и выглянул: как всегда, скромный ослик, навьюченный поклажей, постукивал копытцами по мостовой; шагал капуцин, босой, с веревкой у пояса; абруццанки в деревянных корсетах, коротких бархатных юбках направлялись к Сан Пиетро — из далеких своих гор, с благоговением, молитвой, ясною душой. Курица где-то кудахтала. Набегала тень облачка, голубоватою волной, вновь светлело, и веселей швырял камешком в голубя уличный мальчик. О, уйти бы в Кампанью, одному лежать на спине, слушая жаворонков, дыша, следя за тихим бегом облачков! Неохотно собирался Рафаэль к св. Отцу: все коленопреклонения, длинные и медовые речи кардиналов — даже самых изящных и обольстительных — все это благообразный, медлительный сон, который, правда, нужно же проделывать . . . а может быть, не так уж и необходимо?

Но не пойти он не мог. И как во многие утра, через полчаса входил, со всеми церемониями, во внутренние покои властелина церкви. Голубоватый, дымно-весенний свет наполнял комнату. В окно виден был угол строящегося собора, кусок серебряного, в блеске, Тибра, и далекие пинии холма Яникула.

У самого окна, за небольшим малахитовым столиком, грузно облокотясь на него, сидел Папа. Держа в руке, выхоленной и пухлой, лупу, рассматривал он небольшую книжку. Художник привычно поцеловал эту руку. Папа кивнул ему приветливо.

— А? — он слегка задыхался от толщины, и перевел на него водянистый взгляд бесцветных глаз.

— Что ты на это скажешь? Грамматика древне-еврейского языка. Смешные люди не только умели писать своими завитушками удивительные псалмы, рассказывать о Ное, Моисее и прочих почтенных старцах, но теперь даже издали правила своего языка... Подумать только! правила языка, на котором все читается справа налево... а, как это тебе нравится?

— Значит, они достаточны трудолюбивы, Ваше Святейшество.

Папа захохотал, и кружевным платочком ослепительной белизны отер влажный лоб.

— Да, трудолюбие, трудолюбие, вещь почтенная. Ну, и слава Господу, никто в наших владениях не грешит особенно против этой добродетели. Но ведь издано удивительно, а? — он опять постучал лупой по пергаменту. — Да, дела просвещения и благословенной красоты радуют, весьма радуют на склоне лет. Я люблю все это — и не стану скрывать: Тацит, изданный впервые в мой понтификат, это, любезнейший Рафаэль, много интересней, чем нелепые схизмы, распространяющиеся на свете. И ты трудишься, да, похвально. А что же разбойник подрядчик? Бембо говорил вчера, что опять он обманул тебя, и уж апрель, а травертин все не прибывает?

Папа вдруг рассердился:

— Да ведь я... знаешь, что я с ним за это сделаю?

Рафаэль вздохнул, и покорно, тихо и покойно стал рассказывать о затруднениях с травертином. Папа слушал внимательно. Иногда вставлял слово — оно должно было показать, что и он все знает и понимает не хуже строителя. Рафаэль почтительно делал вид, что это именно так. Папа заметно успокаивался.

— Как всегда, блаженный Санцио, ты умиротворяешь и погружаешь в какое-то сладостное оцепенение. Когда слушаешь тебя, то смолкают тревоги, будто великий музыкант играет на виоле. Итак, ты находишь, что задержка эта временная, и на ближайших днях все будет наверстано. Dominus det tibi fortitudinem. — Он перекрестил его. —Над тобою звезда побед. Верю твоим безоблачным речам. Ну живи, работай, не увлекайся чрезмерно прелестницами — ты еще будешь мне нужен

чрезвычайно. И не одному мне, — прибавил он, засмеявшись: — искусству, человечеству.

Папа иногда любил, сказав самую обычную вещь, вдруг обрадоваться и сделать вид, будто вышло превосходно и он сам поражен тонкостью языка своего. Рафаэль это знал, почтительно поклонился.

— Вы оказываете мне великую честь, Ваше Святейшество. Честь, мною незаслуженную.

Папа милостиво кивнул и взялся за лупу.

Выходя, в следующей комнате, Рафаэль чуть не столкнулся с кардиналом Джулио Медичи. Быстро, неслышными шагами пробирался тот к Папе, заметив художника мгновенно изменил свое лицо — с холодной озабоченности на привет, любезность. Длинный и тонкий его нос, над полными губами, казалось, остро вынюхивал. Что-то влажное было в его лице, неприятно лоснящееся и медоточивое. После нескольких слов приветствия, он схватил Рафаэля под руку, слегка отвел, чтобы не было слышно второму секретарю, следовавшему за ним, и вполголоса произнес:

— Милейший наш Агостино, изящнейший амфитрион и поклонник возвышенного, приветствует завтра закат солнца на своей вилле. Вам приглашение послано. И надеюсь, Рафаэль, вы не откажетесь?

Джулио блеснул на него большими, темными и тоже влажными глазами, торопливо пожал руку.

— Наверно, мы встретим с вами там и восход солнца, как во времена былые с прекрасной Империей . . . —Он слегка хихикнул. — А теперь спешу, спешу, к святому нашему вождю, отцу и столпу христианской церкви.

Он любезно кивнул, и быстро надел на лицо свое — прежнее, холодно-значительное выражение дипломата.

Рафаэль же, не торопясь, шел далее. Как вчера, как завтра, посылало солнце голубовато-золотистые ковры свои на землю, одевая комнаты сиянием светлым, трепетным. В этом был благостный привет благословенным местам. Рафаэль чувствовал на себе негу света — как бы ослабевал, растворяясь в ней. Ему хотелось широко дышать, пить этот свет, как легкий и обожествленный нектар.

И незаметно, не спускаясь вниз, к постройкам и подрядчикам, оказался он в комнате della segnatura, где со стен взглянули на него видения юности, фрески Парнаса, Диспута, Афин-

ской школы. В каком сне пригрезились они ему? Вот вновь — сонмы святых, философов, поэтов, дивная в легкости своей архитектура, небесный синклит, рощица Аполлона, и среди светлого хора отвлеченностей — отголоски знакомых, некогда милых лиц. Граф Кастильоне, с длинной бородой, Браманте, герцог Монтефельтро, и сам Империя, имя которой всуе упомянул Джулио — в облике Сафо перебирает струны лиры, как перебирала их некогда на виа Джулиа. Никого не было в комнате. Ласкалось солнце, да цветные золотисто-радужные пылинки плавали безостановочно. «Этого уже не будет», вдруг подумалось ему, и безотчетная стрела пронзила сердце. Как эти вечно-уплывающие токи золотого света, уплыла юность, Империя, светлые вдохновения, как уплыла уже вчерашняя трастеверинка, как улетает каждый вздох его, и миг. «В далекий путь» пела со стены лира Сафо. «В далекий путь, где тени светлы и прозрачны рощи.»

В этот день стены возводимого собора не увидели своего строителя: приступ мечтаний и таинственной тоски овладел им, и из Ватикана, неизвестно зачем, он побрел к Санта Мариа делла Паче. Там глядел на Сивилл, выведенных его же кистью в капелле Киджи, на летящих ангелов со свитками, и в глазах сивиллы Фригийской, задумчивой и дивной Империи, читал то же, что слышал в лире Сафо. Мгла, сияние золота, лампад... «Почему ушла от нас внезапно Империя? Что за судьба ее?» думал он, возвращаясь берегом Тибра. И понять этого нельзя было, как необъяснимо и рождение подобной красоты.

В одиночестве сидел он под платаном, недалеко от вод. Мутные, кофейно-желтые, катились они мимо. Женщина полоскала белье. Ребенок бегал. Сант-Анджело вздымался, со своими башнями, зубцами. К нему лепились домики с лоджиями на косых подпорах. Носились ласточки. Солнце склонялось. Беспредельно голубело небо; безбрежно ветерок набегал. Бесконечно Тибр шумел. Трудно было узнать, правда все это, или милый сон, дивный мираж?

III

На другой день с утра зашел Рафаэль к себе в мастерскую, где Пинно и Ансельмо трудились, заканчивая «Преображение», оглядел все, кое-что поправил, но не мог долго задер-

живаться, направлялся в Ватикан. Тут ходил по лесам, подмосткам, наблюдал за кладкой, покойно, твердо говорил с подрядчиком — хитрым бородатым генуэзцем, постоянно переходившим на непонятный свой жаргон дженовезе; наконец сел опять на коня, и в сопутствии учеников, слуг, отправился в Кампо-Ваччино, на раскопки. А оттуда должен был заехать к Биббиене посмотреть коллекцию монет, только что купленных; потом распорядиться насчет мраморного младенца в стене Аврелиана, работать дома, ответить заальпийскому художнику — вообще вести тот беспрерывный, рабоче-творческий день, что и была — жизнь его. Нынче чувствовал он себя особенно бодрым, остро-легким и молодым. Казалось мало ему света, римского апрельского солнца, мало улыбок на лицах, цветов у девушек. И ласково, с неотвратимой нежностью, взглянул он, у театра Марчелла, на двух быстроногих, тоненьких горожанок, сверкнувших на него огромными глазами. Они вспыхнули и засмеялись под его взором, — к нему полетела красная роза. Он поймал, улыбнулся, кивнул и прикрепил ее к себе на грудь. Варвариец же, испугавшись, рванул, и галопом вынес к древнему, мутному Тибру, видевшему Ромула, любви царей и императоров.

И лишь проезжая Кампо-ди Фиори вздохнул блаженный Рафаэль, даже закрыл бы взор рукой: посредине, довольно высоко на столбах, громоздилась неуклюжая клетка; три человека, в колпаках, сидели в ней — это были воры, обокравшие церковь. Завтра повезут их, через Рим, в шутовских митрах с дьявольскими изображениями, к Латерану; там четвертуют и сожгут. А пока несколько аллебардщиков караулят их, народ толпится, слышен говор — в двадцати же шатах мирно торгуют на лотках ленточками, амулетами, жарят на жаровнях рыбок, уличные писцы пишут письма . . . Нет, мимо, мимо! Ни издевательств, и ни краж, ни казней не желает проезжающий художник — это мелко, горестно и ненужно. Со спокойным, светлым интересом погрузится он у Биббиены в мир статеров, дариков, дидрахм. Может быть, вспоминая «Парнас», прочтут они отрывок божественного Платона, перл типографии Мануция; прослушают сонет Кастилионе, выпьют по бокалу сицилианского, отдадут честь куропаткам и фазанам. Голубой день будет над ними безмятяжен.

Но сегодняшнего вечера пропустить нельзя. И к семи Рафаэль уже дома, — робкий Дезидерио лишь немного видел

его — Учитель снова переоделся, он не может запаздывать, огорчать друга своего, Агостино Киджи, встречающего закат на при-Тибрской вилле.

Все же к закату Рафаэль не поспел. Солнце уже скрылось; гигантский оранжевый веер сиял за Ватиканом, в нем четко чернели пинии по холмам, и глубоким, насыщенным блеском были полны улицы Рима, когда Рафаэль всходил по лестнице. Слуги в богатых ливреях низко кланялись. Благоухали цветы в корзинах. На верхней ступеньке последние лобзанья солнца залили его пурпуром, кинули алые пятна на простенок, потолок. Легко, в нежно-шуршащем шелке шел Рафаэль, он ощущал аромат роскоши, изящества, милых женщин, — и вступил в залу, где в синеющем полусумраке зажигались уже золотые канделябры. Ровное мелодичное журчанье голосов — многие уже собрались — неслось оттуда.

И эту залу, и виллу знал Рафаэль — сам он, и ученики его трудились тут, накладывая на стены, своими фресками, светлый покров радости. Летали голуби Венеры, нежная Психея восходила на Олимп — свершать брак с Амуром; небожители в облаках принимали ее, правили свадебный пир, цветы сыпались, разливались благоухания, и бессмертная пляска увеселяла сердца бессмертных. А могучая природа одаряла их цветами, и плодами, бабочками, птицами — все жило и шелестело в дивных фризах.

— Наконец-то Рафаэль и вы. Наконец! —говорил хозяин, Агостино Киджи, — высокий, тонконосый, с гривой волос бородатый человек, беря его под руку. — Мы уж подумали, что вы обманете.

Рафаэль мягко поклонился.

— Этого, кажется, со мною еще не было.

Гости шумно и весело его приветствовали.

— Бероальдо собирался уж читать новые сонеты, — ласково проговорила мона Порция, у которой художник почтительно поцеловал руку. — Но поджидали вас.

Рафаэль поклонился снова, и сказал, что если бы эти сонеты были прочтены дважды, вряд ли остался бы кто-нибудь недоволен.

— Но пойдемте сюда, друг мой, — продолжал Агостино, увлекая его к лоджии, — пока не завладела вами какая-нибудь из Психей, сделайте честь вину, для вас сохраненному!

И Агостино, слегка раздувая тонкие ноздри, вывел его в просторную лоджию, всю разубранную цветами, с видом на Тибр и Рим. Небольшие столики были расставлены у баллюстрады. За ними сидели, пили, смеялись. У одного, с большим букетом чайных роз, они сели. Агостино налил из хрустального граненого графина по бокалу вина.

— Все то́ же вино, — Рафаэль улыбнулся, — что и боги пили на свадьбе Психеи. Только в венецианском бокале.

И держа его за тоненькую ножку, прежде чем выпить, вдохнул он нежный аромат.

— Да, любезнейший Рафаэль, не будь я христианином и банкиром его Святейшества, я хотел бы, чтобы после смерти жизнь моя шла в том же олимпийском мире, что вы так чудесно воскресили на стенах наших.

Рафаэль протянул опорожненный бокал.

— Еще вина, дорогой Агостино.

— Охотно, да, ваше здоровье! Зе ваше чародейное искусство.

Они чокнулись.

— Да, продолжаю, я желал бы жить вечно в воздухе Олимпа. Смерть ... ах, не хотел бы я ее, и ни сейчас, и ни когдалибо.

Он слегка вытянул вперед и сжал руки. Глаза его блеснули — почти дико, страстно.

— Если говорить серьезно ... это, понятно, будет ... рано или поздно. Но — дальше, дальше! Вы еще в цвете лет, Рафаэль, а у меня уже седины. Правда, судьбы своей никто не знает ... Ах, я хочу еще жить, хочу, художник! — почти выкрикнул он. — О, какие во мне силы! Я хочу бороться, повелевать, ласкать ... творить, я хочу, чтобы вокруг меня были люди как вы, я хочу напитать всю жизнь красотой, и быть вечно в огне, в огне ...

Он оперся локтями на колена, сжал голову.

— Вы поймете меня. Вы поймете — ведь не только же торгаш я, и не только рудники, конторы, банки меня занимают ... Хотя — прибавил он, и глаза его заблестели вновь: — и это ... о, и это увлекает, и богатство, и могущество.

Рафаэль вздохнул.

— Я люблю жизнь не меньше вашего. И как раз сегодня кажется она мне особенно прелестной. Но ... за все последнее время, с какой-то новой, необыкновенной ясностью я чув-

ствую, насколько все мгновенно, как призрачно, Агостино... Я не удивился бы ничему такому, что ранее казалось странным... и далеким.

Агостино улыбнулся.

— Вы цветете! И вы знаете, что ничто горькое вас не заденет.

— Нет, — ответил Рафаэль покойно и как-бы задумчиво. — Мы ведь ничего не знаем — я лишь повторяю ваши слова. А скажите будет у вас нынче Лаурана?

— Будет... полоумная женщина. Почему вы спрашиваете?

— Она прислала мне стихи. Я хотел бы поговорить с нею.

В это время в залу, уже ярко сиявшую в сумерках, плавными и неслышными своими шагами вошел кардинал Джулио. Длинный его нос, как всегда, что-то вынюхивал. Смесь сладости и мрака была на лице. Агостино поднялся.

— Простите меня Рафаэль. Надо встретить эту лису.

Рафаэль остался. Он медленно отпивал душистое вино, и смотрел за баллюстраду, где кипарисы, лавры, апельсиновые деревья сходили к Тибру аллейками и в беспорядке, фонтан журчал, и среди олеандровых боскетов стояли каменные скамейки; в нише направо белела статуя.

Закат угас. За Тибром простирался Рим — уже тонущая в весенних дымных сумерках громада садов, дворцов, развалин, храмов. Налево Сант-Анджело вздымался — зубчатыми башнями; прямо виднелся купол Санта-Мария-Ротонда, а направо, над Форумом и Велабром синел уже туман, прорезываемый черными кипарисами. В городе огоньки зажигались, но на горизонте, призрачно выделяясь на фиолетово-сиреневом небе, переходившем в нежно-оранжевое, розовели Сабинские горы: волнистой, прерывистой линией от Монте Соракто, до Монте Дженнаро. Смутный гул доносился из города — но уже смягченный, утишенный — вечер наступал. Звезда бледно замерцала над Авентином.

Рафаэль долго, внимательно любовался — видом давно знакомым и всегда новым — потом перевел взор назад, к освещенной зале. Видно было, как Агостино любезно и почтительно беседовал с кардиналом, как приветливо кивала вновь прибывающим мона Порция, как слуги пробегали с подносами, прохаживались гости. Можно было подумать, что по одну сто-

рону дремлет вечность Рима, пустыня Кампаньи, гор, а по другую светлый и легкий вьется непрерывный карнавал.

На минуту все стихло в зале. Раздались звуки лютни, и небольшой, но мелодический голос запел:

О, сколь прекрасна жизнь скоропроходящая,
Радугой счастья нас увеселяющая
Светло-улетающая к волнам Летейским!

Лютня аккомпанировала мягко и нежно. Нежно-серебряное было и в пении, и в полузаглушенных, но прозрачных звуках инструмента. Когда певица кончила, раздались аплодисменты. Агостино вновь вышел в лоджию, подошел к столику Рафаэля, налил себе вина. Лицо его было взволновано, несколько побледнело.

— Рафаэль, помните вы божественную Империю? Как она пела!

Рафаэль медленно и утвердительно кивнул.

— Помните, что тогда мы были с вами соперниками? — Рафаэль вновь наклонил голову.

— Что почти уже восемь лет, как оставила она нас?

— Я все помню. Она ушла в день Успения Богородицы 15 августа 1512 года. Была гроза, страшный ливень. Все оплакивали ее смерть.

— И не находите ли вы, что смерть эта в расцвете красоты, молодости, не была вполне обычной?

— Она ушла так же внезапно, и почти сверхъестественно, как и явилась в жизнь, будучи совершенной красотой.

Агостино опять тяжело подпер руками голову.

— Я думаю так же.

И выпив бокал, бросил его вниз. Со слабым звоном распался дивный венецианский хрусталь.

— Бездна забвения! Но вы, художник, светлой своею кистью увековечили Империю.

Он встал и взял его под руку.

— Идем однако. Дамы удивляются, почему нет с ними всегдашнего, как сказала нынче Бианка, благоуханного Рафаэля.

— Мона Бианка, — ответил Рафаэль — синими своими глазами сама напоминает фиалку из окрестностей Пармы.

И допив вино, покорно направился он за хозяином, и покорно уселся с мадонною Бианкой, синеокой Психеей, в по-

лукружии дам и кавалеров, собиравшихся в большой гостиной слушать Бембо. Исполняя выпавший ему фант, длиннобородый, лысый Бембо кратко, ясно и изящно произнес небольшую речь в прославление Психеи, вечно прекрасной, женственной души мира, дарующей ласку и очарование. По его словам, потому бессмертные приняли ее в свой сонм, что в ином отношении она выше даже самой Афродиты — ибо Афродита полдень, свет и свершение, Психея же лишь легкое дуновение, внутренний, как бы эфирный дух любви.

Речь имела успех. Все зааплодировали.

— Чудно, чудно, — говорили дамы. — Да, недаром мессер Бембо первый наш поэт, и первый латинист Апостолической курии!

Рафаэль поцеловал ручку моны Бианки.

— Синие очи Психеи говорят об эфире небесном, который изливает она на бедных смертных.

Бианка улыбнулась и погрозила пальцем.

В это время шумная и легкая ватага масок ворвалсь из боковых дверей — завеяли голубые, черные шелковые плащи, расшитые золотыми звездами; таинственно засияли глаза из-под бархатных полумасочек. Зазвучали скрипки. Вихрем понеслись призраки по зале, плавно и мерно колыхаясь, в странном танце своем, вокруг высокой женщины с голубком в руке, в центре.

— Ну, а знаете ли вы, знаток всего, Рафаэль, — спросила Бианка, слегка хлопнув его по руке веером, — что это значит?

Рафаэль поцеловал ей руку, около локтя, — молочно-бледную, с тонкими голубыми прожилками:

— Я знаю лишь одно — что синеющий эфир исходит не только из очей Психеи, но и из божественных ее рук.

— Поэт, поэт, — она смеялась. — Так знайте, что это хоры звезд, планет и комет, поклоняющихся Венере, сестре своей.

Когда, через несколько времени, Рафаэль встал, чтобы налить себе вина, одна комета пролетела рядом с ним, слегка задев его плащем. В миндалевидную прорезь маски глядели слегка косящие, туманные, как бы безумные глаза.

— Но помни, смертный . . . — прошептал знакомый голос. — Но помни смертный . . .

Он подхватил ее под руку, и повел к баллюстраде, к столику, где стояло еще его вино.

— Что бы ни пророчила ты мне, Лаурана, — он налил, — принимаю! Пью!

Комета схватила его за плечи, нагнулась — длинно заглянула в глаза.

— Ты не можешь быть иным, Рафаэль! Ты — Рафаэль!

Тем же золотистым вином чокнулись они, но теперь, выпив, он бросил бокал. И с таким же мелодичным, слабым звоном тот разбился.

Лаурана же вся в черном, с рассыпающимся хвостом своим, унеслась в залу, где танец продолжался.

Голубая ночь стояла над садами, когда Рафаэль под руку с синеокой Бианкой спускался к Тибру, среди кипарисов, лавров, апельсиновых деревьев. На каменной скамье, недалеко от античного саркофага, над которым склонялось лимонное деревцо, они сели. Вдали светились окна виллы; слышалась музыка, пары неслись в танцах. Бал продолжался. И уже слуги, в одной из боковых гостиных, готовили алтарь Венеры, где богине предстояло жертвоприношение — молоком, голубками, мадригалами. Бембо и Бероальдо — сонетами, Лаурана — сафическими строфами.

Целуя руки смеявшейся Бианке, Рафаэль говорил:

— Видите ли это лимонное деревцо? Древний миф повествует, что в него обратила Афродита мертвого Адониса. Оплакивая его гибель, она вдруг вскрикнула: «Я хочу, чтобы, как некогда лавр говорил о любви Дафны, так дерево обессмертило бы нашу любовь.» И она изливает амброзию на волосы Адониса, омывает тело его водою Идалии, шепчет неведомые слова, и покрывает страстными поцелуями. И тогда волосы его твердеют, вытягиваются корнями, тело — гладким стволом; юношеский пушок обращается в листья, белизна становится цветами, руки простираются ветвями. И влюбленный по-прежнему, он осыпает любовницу свою белыми лепестками.

Мона Бианка зааплодировала.

— Браво! браво! Откуда такие познания в мифологии?

— Но я ведь, на своем веку, писал не одних Мадонн, и не одним Мадоннам поклонялся.

— Вот я всегда и говорила, что Рафаэль все знает, — тихо, и с улыбкой отвечала Бианка. — Все ему близко!

Рафаэль же целовал ее нежно и длительно, находя важные предлоги и для рук и для молочной шеи с нитью тускло-золотеющего жемчуга, и для губ, и для синих знаменитых глаз мадонны Бианки.

IV

«Сегодня воскресенье, — писал три дня спустя Дезидерио в своей тетрадке, — и утром я слушал мессу в Санта Мариа делла Паче. Пусть смеются надо мной другие ученики, называя меня девственницей из Фоссомброне и святой Дезидерией; все равно, даже в этом Риме, шумном и блестящем городе (светлые виноградники, поля и синеющие горы нашей страны все-таки лучше) — даже и здесь я не могу забыть наставлений матушки, говорившей, отправляя меня сюда: помни Дезидерио, всегда помни о Господе нашем Иисусе; не ложись спать не прочитав молитвы, соблюдай посты и ходи в церковь. И св. Дева даст тебе силы устоять в омуте, называемом Римом и сподобит овладеть искусством.

Да, матушка, я так и живу. Здесь считают это отсталым. Здесь царят роскошь и мирская суета, истинно верующих же мало. Но ко всему блеску, великолепию, не лежит моя душа. Каким был в Фоссомброне, таков я и здесь. Я живу скромно и незаметно; молюсь, не пропускаю месс; сердце мое легко; я издали гляжу на жизнь, катящуюся пестрым, блестящим карнавалом; лишь иногда грусть одевает меня своим покровом. Что же до искусства, то я успеваю мало — не без печали сознаюсь в этом. И хотя Учитель, как справедливо называют его *божественный* Рафаэль и снисходителен ко мне, все же я чувствую, что силы мои слабы, кисть неверна, рисунок бледен и невыразителен. Я не могу сравняться даже со средними учениками, вроде Ансельмо. Но сама жизнь около Учителя... О, всегда буду я благодарить Небо, давшее мне ближе узнать этого человека! Отстояв мессу, я заходил в капеллу Киджи, где несколько лет назад Учитель написал четырех Сивилл. Глядя на одну из них, Фригийскую — опершись рукой и телом на полукружие свода, она задумчиво читает скрижаль, несомую ангелом — я вспоминал учителя. Ранее я слыхал, будто в Сивилле этой он изобразил свою возлюбленную, некую красавицу и куртизанку Империю,

умершую восемь лет назад. Но уж таково обаяние его кисти: грешницу эту он возвел к высшей глубине и задумчивости — и не знаю почему, мне мгновенно представилось, что на этой скрижали она читает судьбу самого учителя, и уже знает ее. Это меня взволновало. И возвращаясь домой, я все время думал о нем. Вот что, между прочим, занимает меня: живя здесь довольно долго, зная все творения художника, видя его самого ежедневно, я не могу с уверенностью сказать, истинный он христианин, или нет? О, конечно, в Господа Иисуса он верит, и св. Деву прославлял неоднократно; но нельзя не видеть, что и красоте земной, чувственной предан он чрезвычайно. Не говоря о живых женщинах, он, как будто, влюбляется и в мраморных богинь, вечно занят древностями, восторгается монетами, греческими торсами, целые утра проводит на раскопках на Кампо Ваччино, откуда, по-моему, и вывез эту лихорадку, правда, не сильную, которая держит его в постели уже второй день.

Мне трудно обнять все это и свести к одному. Для христианина он слишком язычник, для язычника же — слишком полон того света, какой дается христианину...»

Он задумался и отложил перо. Потом захлопнул тетрадь, спрятал ее, вышел из комнаты. Было три часа дня. Дезидерио спустился вниз в спальню Рафаэля.

Слабым движением руки ставил Рафаэль серебряный колокольчик, с ручкой в виде Амура, на столик у изголовья. Желтые шелковые занавеси на окнах были спущены; в комнате стоял золотистый полумрак. Пахло розами — большой красно-белый букет лежал на комоде, — духами. Воздух несколько спертый. Увидев вошедшего, Рафаэль улыбнулся.

— Ты всегда где-то здесь, Дизи. Мне кажется, стоит подумать о тебе, и ты явишься.

— Я, ведь, и на самом деле недалеко... А сейчас только-что спустился.

Рафаэль ласково глядел на него темными, бессветными глазами. Лоб его был влажен, пряди черных волос разметались по подушке. Ворот рубашки расстегнут — точеная длинная шея, как у «Давида» Микель Анджело, выходила из нее.

— Милый, подыми занавес, отвори окно. Здесь немного душно.

В комнате сразу стало светлее. Ветерок набежал, слабой волной, зашелестел листьями роз.

— Как вы себя чувствуете, Учитель?

Рафаэль вздохнул.

— Теперь легче. Лучше дышать. Голова болит, и какие-то все кошмары... Или это я засыпаю, во сне вижу? Подойди, дай руку.

Дезидерио сел рядом с постелью. Рафаэль взял его за руку, погладил.

— Ну, это теперь не сон, а правда. Рука моего славного Дизи, юного скромника из Фоссомброне. Ансельмо мне недавно сказал, что ты в монахи собираешься. Правда?

— Если вы, Учитель, не прогоните меня, я останусь при вас.

— Зачем же я тебя стану гнать? Нет... это ты... напрасно говоришь. Ну, а если бы меня не стало... Например, я бы умер?

Дезидерио быстро поднял голову.

— Не надо говорить так, Учитель.

— Почему не надо? Разве я не могу умереть?

— Это было бы слишком ужасно и несправедливо.

— Все равно... ну, скажи, что бы ты... сделал?

Дезидерио помолчал.

— Мне трудно даже думать, Учитель.

Несколько времени Рафаэль лежал с закрытыми глазами; потом приоткрыл, слабо повел ими.

— Если, правда, станешь монахом... это пойдет к тебе... помолись. И за меня помолись, Дизи, не забывай меня.

Дезидерио встрепенулся.

— Учитель, вы так странно говорите... Вы меня пугаете. Вам хуже?

— Вот хорошо, что ты окно открыл. Что это, музыка играет? Где-то вдалеке...

— Нет, музыки не слышно...

— Ну, может быть. А быть может ты не слышишь. Но — хорошо! Как удивительно пахнет этот ветер. Помнишь Дизи, Монте-Катриа, у нас, на родине? В апреле горный ветерок пахнет там... фиалками.

Он опять повернул голову, закрыл глаза, но руку Дезидерио продолжал держать. Дыхание стало ровней, он как бы вдруг задремал. Слабый сон, похожий на забытье, овладел им. Дезидерио сидел недвижимо, не выпуская руки. Тонкий,

нежный профиль Учителя рисовался перед ним; и ему вспомнилось, что совершенно так же, бледным и ушедшим лежал он в то утро, на рассвете, когда Дезидерио его караулил. Но теперь было тяжелей. Смутные, неожиданные слова Учителя взволновали его. Рафаэль вздохнул, перевернулся на другую сторону, и вынул руку из руки ученика. Тот встал, тихонько подошел к окну. Небо стало облачнее, подул ветер — Дезидерио решил закрыть окно. Высунувшись на улицу, на мгновение замедлился: окруженный толпою слут, телохранителей, дворян, на богато разубранном муле ехал кардинал Джулио. Он плавно покачивался на седле, слегка вытягивая вперед голову с длинным тонким носом. По временам направо и налево раздавал благословения — знамением креста. Двое красивых юношей вели его мула под уздцы. Впереди особые люди расталкивали народ, глазевший с величайшим любопытством. У дверей дворца Рафаэля мул остановился; один из дворян подал бархатную скамеечку, на которую кардинал и сошел. Любопытные теснее нахлынули — каждому хотелось взглянуть поближе. Алебардщики опять их отогнали. Двери распахнулись. Привратник кланялся низко. Джулио обернулся, в последний раз благословил толпившихся, и стал подыматься по лестнице.

Через несколько минут он сидел уже в комнате Рафаэля у самой постели, поводил длинным своим носом, и однообразно-сладостно журчал. Дезидерио робко жался в уголку.

— Вам нужен покой, любезнейший Рафаэль, огонь творчества и непрестанных работ утомляет вас, и за теперешнюю вашу болезнь все мы, обременявшие вас заказами, несем ответственность.

— Я счастлив трудиться, Ваше Преосвященство, — тихо сказал Рафаэль, и полузакрыл глаза. — А эта лихорадка, надеюсь, не долго задержит меня . . . здесь.

Джулио рассыпался в соболезнованиях и уверениях, что болезнь эта пустая. Но передал, что сам св. Отец справлялся о его здоровье, что вообще все в Ватикане любят и заботятся о нем, в восторге от его работ. Рафаэль слушал молча, глядя вверх, иногда закрывая слабеющие глаза. — Кардинал стал рассказывать о домашних придворных делах — как Кастильоне убеждает св. Отца вернуть Урбино прежнему герцогу, как запутывается внешняя политика св. Престола «дерзкими

мальчишками Карлом и Франциском», да еще бессмысленные нападки на курию этого Мартинуса Лютеруса, полоумного немецкого монаха, которого, конечно, во время надо было сделать архиепископом с хорошими доходами, и тогда он не выдумывал бы всей этой пустой истории с индульгенциями. Индульгенции! Странное дело! Конечно, если сидеть в варварской Германии на грубом хлебе, то можно обходиться грошами — но тогда не угодно ли уж учреждать какой-нибудь новый орден Sancta povertade, вроде этого... болезненного и полуеретического Франциска Ассизского. Удивляться же, что Апостолическая Курия прибегает к разным источникам доходов — просто неумно, это детское незнание жизни.

— Италия! Империя! — слабо произнес вдруг Рафаэль. Джулио на мгновенье остановился.

— Что хотите вы сказать этим, друг мой?

Рафаэль не ответил. В голове его путалось, и плавные слова Джулио звучали, как далекий дождь, шум которого слышен, но невнятен. «Пускай дождь проходит, не хочу дождя»... медленно плыло в голове. Он вздохнул.

— В Урбино мало бывает дождей. Правда, Дизи? — Кардинал взглянул на него пристальней, и подумал, что болезнь серьезна. Он встал, и заявив, что не желает более утомлять, благословил. Затем поднялся к выходу. Его глаза приняли обычное, холодно-водянистое выражение; и ничего благословляющего в них не было.

— Дизи, — произнес Рафаэль впологолоса, когда тот ушел. — Он мне надоел.

Через минуту прибавил:

— Все они ничего не понимают. Ничего. В главном, Дизи.

В этот день знатных посетителей больше не было. А незнатным говорили, что художник слаб, и разговоры ему вредны. Так распорядился медик Папы, Джакомо да Брешия, лечивший его. Видимо, был он прав: Рафаэль очень ослабел. Вечером, однако, уснул хорошо. В полночь вдруг хлынул теплый, весенний ливень. Ровный, мягко-глуховатый шум сначала удивил его, он проснулся: «Что это?» И когда ему объяснили, опять замолк. Быть может самый гул успокаивал. Он опять заснул. И хотя дышал тяжко, все же сон подкрепил его и ободрил. Утром Джакомо нашел, что жар меньше и сердце лучше. Правда, весь день чувствовал он себя легче. Говорил,

хотя и тихо; пробовал даже читать. Ему приятно было, что отовсюду спрашивали о его здоровье, присылали букеты цветов. От Бембо получил он античную вазу — подвиги Энея изображались на ней. Кардинал Биббиена подарил маленького белого попугая, который говорил: «Милый Ра-фа-эль! Ми-лый Ра-фа-эль!» Художника он повеселил.

Перед вечером высокий, львиноволосый Агостино Киджи навестил его. Рафаэль улыбнулся, как будто рад был его видеть. Агостино тряхнул своей гривой.

— Ну? Лучше? То-то вот и есть, дорогой наш Рафаэль. Значит вы напрасно испугали меня.

— Мне приятно, что моя судьба вас заботит.

Он глядел огромными, очень покойными своими глазами в окно, где вечерний, зеркально золотистый свет втекал легкими струями. Небо было прозрачно, нежно. Оно наполнялось предзакатным очарованием дня погожего, весеннего, омытого вчерашним дождем. Медленно и слабо звонили в церкви.

— Вся жизнь, — сказал Рафаэль, — как вон то облачко, зологая ладья, скользящая в закате. Приходит, уходит.

— Ах вы, художники, поэты, всегда иначе принимаете невзгоды, нежели мы. — Агостино засмеялся. — В вас нет борьбы. Если бы я был болен, я торопил бы своего врача, и мне досадно было бы промедление, отрывающее меня от дел.

Рафаэль приподнялся, оперся на локоть. Взгляд его оживился.

— Да, я знаю это чувство, знаю... И послушайте, Агостино, я ли не брал, не глотал весь этот свет и великолепие... О, разве не отпил я из золотой чаши жизни?

Агостино в это время взял в руку сверток, развернул его, и посмотрел. Потом улыбнулся.

— Стихи. Разумеется от поклонницы.

— Это сонет Лаураны. Он давно уж лежит здесь.

— Вот видите, как о вас сказано:

«Ты в нежности приемлешь образ бога
Ты в радости взойдешь в его дворцы...»

Прочитав еще две строки, Атостино остановился.

— Отчего же вы не продолжаете?

— Ну, там какие-то сумбурные прорицания, совсем во вкусе этой вашей Лаураны.

— «Но помни, смертный...» — произнес Рафаэль. —Все равно, дорогой Агостино, я ведь знаю сонет...

Он замолчал.

Агостино попытался изменить разговор, отвлечь его, но Рафаэль остался задумчивым. Вскоре он вновь устал, ослабел, и слегка даже застонал. Ему трудно было дышать.

Когда ушел посетитель, он позвал к себе Дезидерио.

— Дизи, завтра я хочу исповедываться и причаститься.

Дезидерио сначала молча на него посмотрел, потом наклонил голову, поцеловал ему руку, вышел. У себя в комнате сел к столу, и подпер руками голову. «Учитель умирает!» пронеслось в его душе. Он зарыдал.

V

В среду Рафаэль исповедывался. Был он уже очень слаб, дышал неровно, с хрипом, но еще мог заняться делами земли: роздал имущество свое ученикам, завещал деньги на перекрытие дарохранительницы в Санта Мариа Ротонда, где и желал быть погребенным. А затем медленно, но неотвратимо стал погружаться в полусон, преддверие сна вечного. Как и жил, умирал покойно. Грудь его как бы устала дышать; глаза — устали смотреть, и с замирающим дыханием все прежнее, что знали в имени *Рафаэлъ*, переходило в край воспоминаний.

Последний вздох его, еле слышимый, слабо-таинственный, раздался в пятницу на Страстной неделе, как в пятницу же на Страстной тридцать семь лет назад пришел он в мир. В этот день произошло несчастие с лоджиями в Ватикане. Тело же Рафаэля было перенесено в залу, где в головах его поставили «Преображение.» Все, приходившие проститься, видели это творение, последнюю работу мастерской Рафаэля.

Днем дождь шумел, а к вечеру все успокоилось, небо прояснело. Закат нежно-алый, и шелковеющий, вливался в залу и окроплял бледный и высокий лоб с темными кудрями, огромные глаза, уже умолкшие губы, столько лобзавшие; руки, торжественно сложенные на груди — столько творившие, и ласкавшие столько! Спаситель возносился над ним на горе Фавор. Ученики, не в силах вынести света Фаворского, закрывали лица руками. А внизу одержимый мальчик корчился в

руках мужчины, и женщина на коленях — вновь отзвук Империи — указывала на него пальцем.

Друзья, поэты, дипломаты, кардиналы, сам св. Отец — все перебывали у него. Среди них робко терялся юноша Дезидерио. Он молчал, плакал тайно, у себя в комнате, да по ночам спускался, и подолгу, при свете погребальных свеч, — всматривался в Учителя. А ночи непрерывно текли, сменяясь днями, и опять ночами, и вот уж бедный прах Рафаэля с царственной пышностью похоронен, как и желал усопший, в Санта Мариа Ротонда. Любящие плачут, тоскуют женщины, равнодушные равнодушны. Ученики делят ризы, а дни летят все далее и дальше, и такие же чудесно-голубые утра над Римом, так же воздух сияет и золотеет пред закатом, так же улыбаются трастеверинки, так же уплывает все в синеющий туман былого; и в храмах, галереях, Ватиканских станцах — ясные и мелодичные, ритмом и гармонией овеянные — процветают образы Рафаэля. Но дворец его на Борго Нуово пуст. Многие ученики уж разошлись. Собирается на родину и Дезидерио, хоть и тяжко ему оставить в Риме могилу Учителя. Но уж он уговорился с купцами, возвращающимися через Умбрию в Урбино, и они его подвезут.

Накануне отъезда, сидя один в полупустой комнате, перед вечером, Дезидерио писал: «Мы завтра едем. Марко Антонио Бистиччи показал мне мула, на которого я сяду. Я рассматривал седло, уздечку, гладил по спине покорное животное, которому надлежит нести меня на родину, и разные мысли шевелились в голове моей. Я не думал, что *так* буду возвращаться! О, каких надежд был я полон, отправляясь сюда! Мне казалось, что близость Учителя, его советы, указания, откроют мне двери великого искусства, к которому стремилась моя душа. Вышло иначе. Талант не раскрывается во мне или, может быть, и вовсе его не было? Во всяком случае будущее мое очень, очень скромно: вряд ли оно выйдет за пределы родного Фоссомброне, где с усердием и полным прилежанием стану я применять то, чему, все же, научился у незабвенного Учителя.

Его нет уже! Слезы застилают мне глаза, и горло сжимается когда вспомню, что никогда уже, *никогда* не увидать мне его стройного, совсем юношеского еще облика, этих темных, бархатно-ласковых глаз, мягких и тоже темных кудрей, в которых странно было бы видеть седину. Да, он ушел молодым,

как молодостью была проникнута его жизнь, его искусство. Отчего покинул он нас так рано? Одни говорят, что причиной тому переутомление; другие, что он злоупотреблял любовью; что сам Рим, древний, ветхий Рим, который он беспокоил раскопками, отомстил ему, послав смертельную лихорадку. За эти дни горя, за эти ночи, проведенные у его гроба, я много передумал. Мне кажется, причина иная. Сравнивая его с другими людьми — здесь в Риме, я довольно насмотрелся — я всегда думал, что Учитель — особенное существо. Весь он будто бы создан из более нежной и тонкой ткани, нежели мы. Он изящнее, легче, хрупче всех нас. В этом грубом, — все-таки — мире он прошел светлой кометой, и надолго загоститься тут не мог.

Я видел, как он причащался, я был с ним до самой его кончины. И я счастлив, что умер он христианином; теперь нет для меня сомнения, что его светлая душа будет принята в сонм бессмертных. Он искренно раскаялся в своих грехах, но и грехи его — не из числа страшных, смертных.

Однако, начинает смеркаться. Вот новый месяц, бледный, тонкий появляется на лиловеющем небе.

Весення дымка одевает Рим. Несколько огоньков зажглось. Пора! Прощай, Учитель! Прощай Рим!»

Он отложил перо, и сидел задумавшись. Потом прибавил: «Незадолго пред смертью Учитель сказал мне, что если я пойду в монахи — то чтобы за него молился. Я молюсь и так. А в монастырь... может быть, и пойду».

Притыкино
1919 г.


III

УЛИЦА СВ. НИКОЛАЯ

I

Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремленья — это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны, сыплющейся огневисто, золотеют все витрины, окна разных Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает Прага, сладостный магнит. В цветах, и в музыке, бокалах и сияньи жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая, и талантливая и распущенная. Гремят и вьюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик в санках вытертых, на лошаденке Дмитровской, Звенигородской, как корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади — зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях; везут чиновники, тащит рабочий елочку на праздник детям. И отбушевавши Новый год, в звоне ль шампанского, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром — кто на службу, кто торговать, по банкам и конторам. Кто — и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит Орион семизвездием тайно-прельщающим над кристаллом снегов.

Не навсегда! Не навсегда. Там февраль, там и март с теплым ветром, с буйным дыханьем; весна, грязь и лужи, блеск, солнце, первый разрыв лазури над Арбатом, ведущим к югу,

к Брянску, Киеву, Одессе. И поэт золотовласый, чуть прихрамывая, припадая на одну ногу, в черной шляпе художнической, бежит по тротуару, приветствуя весну и милых женщин. А поэт бирюзоглазый, улетающий, и вечно проносящийся и в жизни, и в пространствах, точно облако белеющее, также пробегает по другому тротуару, и приветствует лазурь, и ждет пришествия, и изнывает от томлений по закатам огненно-золотистым над Арбатом — там, в конце, где он спускается к Москва-реке, в ней утопая. Смутны, и волнующи, и обещающи закаты эти! Чище, и хрустальнее, и дивно-облегченней те миры, что там рисуются, в фантазиях златоогненных.

А когда апрель настанет, то растают почки в многочисленных садах вокруг Арбата, и зеленое благословение выльется — душистым, милым оперением. В старых тополях грачи вьют гнезда. Голубым оком глянет весна, заблестит в крыльях пролеток, в лакированных штиблетах и в зеркальных окнах, и в глазах веселых и воздушных. Мягко треплет ветерком — локоны девушек, бороды мужчин; смеется и перебегает по Арбату в блеске луж, в криках мальчишек, предлагающих фиалки.

Лето насыщает Арбат зноем и оцепенением. Маркизы магазинов никнут под огнем небесным. Налетает пыль — тучкою азиатской. И к вечеру Арбат замучен. Млеют служащие в магазинах: барышни обрадовались блузочкам своим легчайшим. Но нет поэтов — ни златоволосого, бегущего Арбатом слева, ни бирюзоглазого — Арбатом справа. Улетели, как и их друзья, как и те жители, что занимают целые квартиры в домах с лифтами — кто на море, кто в деревню, кто на дачу. Врачи и адвокаты сладкогласные умчались заграницу. «Ах, Карлсбад! Нет, Киссинген! Ну разве можно же сравнить!» И многих обитателей Арбата поразносят lux-ы и международные вагоны по углам богатой, сытой и самодовольно-крепкой бабушки Европы. Сапожники же, медники и парикмахеры, кондуктора трамваев, булочники, мясники и бакалейщики сидят все лето, душное ль, дождливое ль, все на своих насестах, не подозревая о Карлсбадах и об ожиреньях сердца. Священники звонят в церквах Арбата — Никола Плотник, Никола на Песках и Никола Явленный — спокойные и важные, звоном малиновым, в ризах парчевых, вековечных, венчавшие и хоронившие тузов, и знать, и бедноту. Привыкшие к молебнам,

требам, к истовому пению и жизни истовой, замедленной в бездвижности и с ожиреньем сердца.

Гудят колокола, поют хоры, гремит трамвай, звенит румын в летнем зале Праги пышноволосой. Солнце восходит, солнце заходит, звезды вонзаются и над Арбатом таинственный свой путь ведут. И жизнь прядет, и все как будто чинно, все так крепко, и серьезно, и зажиточно, благонамеренно. Строят дома — сотни квартир с газом и электричеством; новые магазины — роскошь новая; новые мостовые, новый, не русский шик города. Льют свежий асфальт и белят стены, и возятся, и пьют, и накопляют, ходят в церковь и венчаются, и любятся, и умирают между трех обличий одного святителя — Николы Плотника, Николы на Песках и Николая Чудотворца. Зима, весна, и лето, осень, хлад и жар, и мленье, и закаты — все себе равно, или кажется таким.

II

Первые грозы, полумладенческие бури! Немотствовавший великан пытается сказать, выкрикивает и грозит, и смутно встряхивается — впотьмах и наудачу. И пылают барские усадьбы, останавливаются дороги, и рабочие выходят с фабрик — демонстрации идут Арбатом. «Господа» банкеты собирают, и изящно бреют русское самодержавие, между икрой и балыком, меж Эрмитажем или Прагою. Ах, конституция, парламент, Дума, новая Россия! А те, кто помоложе и попроще, кому до Эрмитажей далеко, торопятся, им некогда, все совершить бы завтра, всю бы жизнь вверх дном перевернуть. И митинги гудят, толпы чернеют, и кричат газеты об одном: вперед, вперед!

А там дружинники уж засновали по Арбату — и в папахах, и в фуражках; дворники, мальчишки помогают выворачивать столбы фонарные — для баррикад. Веселый рыцарь, Дон-Жуан и декадент, он же издатель и спирит, и мистик — собственоручно водружает красный флаг на баррикаде у Никольского; флаг — юбка женина. Большевики, эсеры, анархисты и художники, и гимназисты, и студенты пробуют себя: вместо «Моравии», где пропивали по рублю на пиво и закуски, целятся из маузеров из-за поваленных трамваев и калиток, снятых с петель, опутанных проволокой телефон-

ною. Седой и старенький извозчик, годы плетшийся Арбатом, обликом похожий на св. Николая, затруднен теперь: от баррикады — лишь до баррикады. А там нужно санки перетаскивать. Да и под пулю угодишь, как раз. Но, все-таки, он ездит, ровный и покойный, как патрон его, святой из Мирликии. Поэт златоволосый не сражается, но на словах громит, анафематствует жандармов, губернатора, властей —заочно и в лицо. Поэт бирюзоглазый ждет пришествия иной культуры, вспоенной громами бурь, кипением и массой. Но массе — еще рано. Еще сильно былое, крепок штык, тверда шеренга. И в декабрьский день, морозный, заревом пылает Пресня под шрапнелями семеновцев. Бегут папахи. Спрятались и маузеры и карабины. Москва затихла. Молодежь по тюрьмам, кое-кто погиб. Серó, туманно, пасмурно и на Арбате. Будто бы окончился спектакль, где нашумели, наскандалили ребята, а в конце прогнали их. И вот — распутывают проволоку заграждений, чинят фонари, ездят патрули, и гвардейцы-офицеры, победители на нынче, пьянствуют по Метрополям, Прагам, Эрмитажам. Лавочки открылись на Арбате, магазины, снова свет, и сутолока, веселье, блеск — одним забава, — труд, забота для других. А седенький извозчик снова невозбранно проплывает по Арбату, снимает шапку у Николы Плотника, и крестится, и крестится на углу Серебряного, где Николай Явленный. Священники же рады, что все кончилось: опять привычное, все то же, вековое и непотрясаемое.

Положим, что есть Дума, что там говорят и критикуют, и постановляют. Но ведь это *так*, все только так, для формы. Прежнее — все то же. И городовой, и мирное служенье, и богатство треб, и пышность похорон. И лик св. Николая в трех церквах все тот же — строгий и покойный лик.

И снова — строятся дома, фабрики возрастают, везут зерно на вывоз и приходят в порты русские из дальних странствий корабли с товарами: как будто крепнет, богатеет Русь. Как будто процветает и Арбат. Не нынче — завтра весь он будет вымощен гранитом, как в Европе; и кафе его сияют, и огромный дом воздвигся на углу Калошина, с бронзовым рыцарем в нише. Рыцарь задумчив, задумчив рыцарь. И стало уже тесно в Праге — думают надстроить новое святилище — выводят стены. И как будто весело, благополучно. Бегают художники, писатели, и декаденты процветают и шумят по клубам, по эстрадам, маскарадам. Сколько лирики! И тем-

ной, светлой, тонкой, уснащенной и скользящей, нежной и летящей! Поэт золотовласый улетел в Париж изгнанником — за резкости о троне. Но другие мифотворствуют и богоборствуют, и препираются, и лекции читают, а иные, как поэт бирюзоглазый, все чего-то ждут. Идет ли? Не идет ли? Начинают уставать, и хриплые рога услышал уже кто-то. Ах, да так ли все благополучно? Нет ли тлена легкого, но острого, под танцем жизни?

И повсюду, на Тверской и в Камергерском, на Воздвиженке и на Арбате — смутный, соблазнительный и наглый, разлагающий, дурманящий и за собой влекущий — над великой пустотой поднявшийся:

— Танго́.

И пляшут его пары на Тверской, и на Воздвиженке, и на Арбате. Сумрак! Сладко утомление. Танго, танго! И ничего не надо. Ни страстей, ни действий, ни силы любви, ни долга и восторга творчества, бессмертия, свободы — сладкий плен полуразврата, полукрасоты.

III

Страшный час, час грозный. Смертный час — призыв. Куда? — Вперед. Вперед, и в ногу, и под барабан. О, содрогнулась Русь, оделась в серую шинель, и смертно лоб перекрестивши, руки сжавши, тяжко в ряды стала, тяжко марширует сапогом тяжелым. Раз-два, раз-два! А черно в сердце и мила Москва, и горько — уходить. Идет Арбатом серый, крепкий строй; и на Угодника, что на углу Серебряного, взглянет ненароком проходящий, под винтовкой, ненароком перекрестится — и далее шагает. Раз-два, раз-два. Вот и Спасопесковский, с красным домом угловым, Никольский, где Никола Плотник, с позолоченной главой, за ним Смоленский, на углу толпа, и машут, слезы заблестят; а там — дорожка ниже, ниже, на Москва-реку к вокзалу — голову клони, солдат. Уж дожидаются вагоны, паровозы, быстрые еще и аккуратные; там снова — бабий вой, крик и рыданье; и влекут тебя, во мгле слепой, на жертву. Велика твоя повинность родине.

Родина же притихла. И насупилась. И затрезвела даже. Пьет — из-под полы, и удивляет старую Европу воздержанием. Надолго ли? Ну, там посмотрим. А пока — поблекли

Праги, Метрополи, Эрмитажи, и все блекнут, задыхаясь в худосочии. Голубки все реже мчатся по Тверской, Арбату. И все больше лазаретов — знак кровавого креста над ними, знак печали-милости — и чаще попадаются их вывески в укромных переулках вкруг Арбата. Старые хоромы, гнезда дворянские, видевшие Герценов и Хомяковых, наполняются людьми в халатах, с лицами серо-бледнеющими, и в повязках, и на костылях. Серый суп, смутность, дрема, бледная тень жизни бедной! Хочется ль чего? Нет. Жалко ли чего? Нет, тоже нет — и все как было и как будет — тихий затон в буре страшной.

Буря же бурлит. Яростны люди, свирепы пушки, пули бессчетны и бессчетна смерть, в поле реющая — и в лесах, горах, ущельях, и окопах. Волны мрака накопились, облака и тучи, и гремит, гремит бессмысленный Дракон, и пожирает, и других зовет; калек, усталых и полуживых, на родину, посмеиваясь, направляет. И идут полки вниз по Арбату, на Дорогомилово, а возвращаются в вагонах санитарных, по трамвайной линии, из-за реки.

Сердобольные же хлопочут дамы, посещают, навещают, развлекают, музицируют и умиляются на «мощь героя серого». Серый же герой еще покорен. Все еще вытягивается и козыряет, и безмолвно умирает на полях далеких, неизвестно за кого и что. Но еще крестится, на углу Серебряного, на древний образ Николая Чудотворца, глядит еще почтительно на две иконы, что под тротуаром — святитель Николай, спасающий матроса, и освобождающий плененного в темнице. Слушает еще и всенощные, и обедни на полях Галиции, и в в Польше, и под Ригой.

Но клонится к закату, внутренне склоняется, сгнивая, старое. И бесподдержно, вдруг, бесповоротно расползается сам трон, и нету больше древних генералов и полицеймейстеров, и гимна, и сурового орла монархии.

Все быль, сон былой — и новый сон уж начинается, пока лишь многословно-легкомысленно-пустопорожний. Молчали долго — и заговорили! Хочется сказать и здесь и там, у памятника Скобелеву и под Пушкиным, и на Арбатской площади, и где угодно. Все серые шинели, серые герои, и один лепечет за другим, все тем же еще получленораздельным звуком, все о том же, о войне, свободе, революции. О том же говорят, и так же длинно, но изящнее и грамотней, и беско-

нечные политики с Арбата, адвокаты, инженеры и военные, ныне страною правящие. О русские интеллигенты, о слова, слова, прекраснодушие, приятность, барственность, народолюбие! Сурова жизнь, и неприятна и *не* прекраснодушна. Но профессора, экономисты из соседних переулков, получившие портфели министерские, гласные *свободной* Думы, из домовладельцев и врачей, еще надеются на что-то, думают управиться с героями в шинелях серых, воевать до одоления врага, и все тому подобное. Лишь более прозорливые, из богатых, денежки пересчитав, проверив — утекают, кто в Японию, а кто на запад.

И во время, и во время! Ведь надоело словопрение, шатание, незнание. И надоело жить в окопах, видеть смерть и ждать ее, и надоело зрелище богатых рядом с бедными, и так отлично — прекратить все это, отобрать, что можно, поделить, с кем нужно, и, на белый свет провозгласивши братство всех трудящихся, из ничего стать всем. И вал растет, буря идет. Поделена земля и допылали те усадьбы, что нетронуты двенадцать лет назад. Разведен скот, диваны вытащены, зеркала побиты и повырублены кое-где сады. Библиотеки отпылали, сколько надо — в пламени ль пожаров, в мирных ли цыгарках. И ты идешь домой, *серый герой*, трудно ведь на войне сидеть, когда в Рязанской, Тульской и Тамбовской *добро делят*. Ну-ка, господин буржуй, иди, кому угодно, под шрапнели, в мерзлые окопы, в вонь, ко вшам, на смерть? И облепились уж вагоны воинами без щитов, пустеет дикое, и горестное поле бранное. Но вряд ли надоело драться. Драться — да не там, не так.

И ты увидел, наконец, Арбат, опять войну — не детскую, как прежде, не задорно-шуточную, нет, но настоящую войну, братоубийственную, с треском пулеметов, с завыванием гранат. Туго пришлось тебе, твоим спокойным переулкам, выросшим на барственности, на библиотеках и культурах, на спокойной сытости, изящной жизни. Неделю ты прислушивался, как громили бомбами — ныне не Пресню уж, а самый Кремль. И за дверьми, за ставнями шептал: «Не может быть, нет, невозможно!»

Но пока шептал, уж новое пришло на твои камни, в серенькие дни ноябрьские, спустилось крепкой, цепкой лапой, облепило стены сотнями плакатов и декретов, выпустило новые слова, слуху несвычные, захватило банки, биржи, мага-

зины и твои, спокойный, либеральный и благополучный думец, сейфы и бриллианты.

Ты же протирал глаза, о обыватель, гражданин и пассажир международных lux'ов, посетитель вод, Карлсбадов, Киссингенов; ты, страдавший ожиреньем сердца, ощутил, что все заколебалось в смутном и, казалось, дьявольски-бесовском танце. Проносились новые автомобили, грузовые, полные людей вооруженных, тех же *серых все героев*; заработала машина смерти; заработала машина голода. И прежние подвальники, и медники, и вся мастеровщина, туго жизнью пригнетенная, из щелей повыползла, из темных нор своих, и вверх задвигалась. «Попировали и довольно! Нынче наш черед!»

Выходи беднота, тьма, голь и нищенство, подымай голос, нынче твой день.

IV

В январе толпы *героев серых*, возвращающихся с брани. Ночью, отлипая смутными гурьбами от площадок, крыш вагонов, буферов тех поездов, что добирались кое-как до Брянского, хмурые и молчаливые, с котомками через плечо, валят они валом неслабнущим, в темноте Арбата, к площади. «Эй, товарищ, как к Рязанскому?» Все Русь и Русь. Рязань, Тамбов, Саратов, все спешат домой, подальше от окопов, смерти хладной, голода. Грязь, вши и мрак. Грязь, хлад в Москве, стон, вой и мерзость и в вагонах тех, куда спешат, стремясь на родину — в ту же мразь беспросветную. Арбатский житель, с ними повстречавшись, пожимается, карманы попридерживая — впрочем, пусто в них, как и в желудке — но сермягам и не до его карманов. Может быть покоен. А последнее пальтишко стащут с него в переулке, вежливо прикладывая дуло револьвера к уху. Ну, что ж, давать, так отдавать! Все равно нету ничего. Ни дров, ни хлеба, ни угла — скитайся, голь, святая бедность! И скитаются, и мерзнут, темной ночью, в сумраке пустынных ветров.

Но и утро занимается над городом. Пробрели все серые герои, призакончились убийства, грабежи и казни — солнце продирается в туманах инея, в огнезлатистых пеленах, столбах жемчужно-радужных. Пар от всего валит, что дышит. Как много серебра, как дешево оно. И на усах, и на обмыз-

ганных воротниках пальтишек людей жизни новой. Люди новой, братской жизни, парами и в одиночку, вереницами, как мизерабли долин адских, бегут на службу, в реквизированные особняки, где среди тьмы бумаг, в стукотне машинок, среди брито-сытых лиц начальства в куртках кожаных и френчах будут создавать величие и благоденствие страны. Вперед, вперед! К светлому будущему! Братство народов, равенство, счастье всесветное. А пока что, все ворчат. И все как будто ненавидят ближнего. Тесно уж на тротуарах, идут улицей. Толкаются, бранятся. Барышня везет на саночках поклажу. Малый со старухой, задыхаясь, тащит на веревке толстое бревно, откуда-то слимоненное. А магазины, запертые сплошь, уныло мерзнут промороженными стеклами. И лишь «Закрытые распределители» привлекают очереди мизераблей дрогнущих — за полуфунтом хлеба. Да обнаженные витрины двух, иль трех советских лавок выставляют пустоту свою. Но не задумывайся, не заглядывайся на ничто: как раз в морозной мгле ты угодишь под серо-хлюпающий, грузный грузовик с торчащими на нем солдатами, верхом на кипах, на тюках материи, иль на штанах, сотнями сложенных. А может задавить автомобиль еще иной — легкий, изящный. В нем, конечно, комиссар — от военно-бритых, гениальных полководцев и стратегов, чрез товарищей слесарей, до спецов, совнархозов — эти буржуазней и покойней. Но у всех летящих общее в лице: как важно! как велико! И сиянье славы и самодовольства освещает весь Арбат. Проезжают и на лошадях. Солдат на козлах, или личность темная, неясная. В санях, за полостью — или второстепенный спец, или товарищ матерой, но тоже второсортный, в ушастой шапке, вывороченной мехом куртке. Это начальство едет заседать, решать, вязать. С утра весь день будут носиться по Арбату резвые автомобили, снеговую пыль взрывая, и гудя. Чтоб не было для них ухабов, обыватель, илот робкий, разгребает и вывозит снег. Барышни стучат лопатами; гимназисты везут санки. И солидные буржуи, отдуваясь, чистят тротуар. Профессора, семьями тусклыми, везут свои пайки в салазках; женщины бредут с мешками за плечами — путешественницы за картофелем, морковью. В переулках близ Смоленского торгуют молоком, дровами, яйцами. Мальчишки выкликают: «Папиросы рассыпные, Реже, Ява, Ира!» И краснощекие красноармейцы, молодые люди в галифе, брито-сытые, с красной пентаграм-

мой на фуражках, отбирают себе Иру. Полусумасшедшая старуха, в рваной кофте и матерчатых полусапожках, широко расставив ноги, бредет, с палкой, и бессмысленно бормочет: «Помогите! Помогите!» — и протягивает руку. Старый человек, спокойный, важный, полузамерзающий, в очках, сидит на выступе окна и продает конверты — близ Никольского. А у Николы Чудотворца, под иконою его, что смотрит на Арбат, в черных наушниках и пальто старо-военном, с золотыми пуговицами, пристроился полковник, с седенькими, тупо-заслезившимися глазками, побелевшим носом, и неукоснительно твердит: «Подайте полковому командиру!» Рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в Калошином, глядит вниз, на кипение, бедный и горький бег жизни на улице, и цепенеет, в седой изморози, на высоте своей. А внизу едут фуры, грузовики с мебелью. Столы, кровати, умывальники; зеркала нежно отблескивают, покачиваясь на толчках. Люди в ушастых шапках, в солдатских шинелях, в куртках кожаных въезжают и выезжают, из одних домов увозят, а в другие ввозят, вселяют, выселяют, все перерывая, вороша жизнь старую. Туго старой жизни; притаилась в тихих переулках, думает, гадает, выселяется и тащит на Смоленский кружева, браслеты, чашки, шали, юбки, мундштуки, подсвечники и кольца, и спускает мужичкам, красноармейцам, спекулянтам, чтобы купить проклятой пшенки, радости советской. И все ждет, и все надеется. «Ну, теперь уже близко!» «Слышали, — ведь заговор. Нет-с, когда и среди них пошли раздоры, это агония!» Но от разговоров не слабей морозы, не дешевле дрова краденые — и дороже пшенка.

И теперь узнал поэт золотовласый, что есть печка дымная, что есть работа в одной комнате с женой и дочкой, что есть пуд картошки мерзлой, на себе тащимой с Курского вокзала. Но все так же, не теряя жизненности, силы и веселья, пробегает он по правой стороне Арбата, ловя взоры девушек. По левой же — все так же пролетает и поэт бирюзоглазый, сильно поседелый, в пальто рваном и шапченке тертой — он спешит на лекцию, на семинар, в пролеткульт и пролетдрам, политотдел и наробраз, и в словах новых будет поучать людей новейших старым откровениям писаний.

Так идет, скрипит, стонет и ухает, гудит автомобилями, лущится семечками, отравляется денатуратом, выселяется и арестуется, жиреет и околевает с голоду жизнь в улице-до-

лине, в улице, ведущей от Николы Плотника к Николе на Песках, и далее к Николаю Явленному. Среди горечи ее, стонов отчаяния, средь крови, крика, низости, среди порывов, деятельности, силы и ничтожества, среди всех образов и человека и животного — всегда, в субботний день пред вечером, в воскресный — утром, гудят спокойные и важные колокола Троих Никол, вливаясь в сорок сороков церквей Москвы. На зов их собирается различный люд. И старый, и молодой, и бедный и богатый. Из холодающих углов идут старухи, чья судьба недолга; из уплотненных, некогда важных покоев — фрейлины, аристократки. Лавочники лысые и мелкие служащие, и девушки, какие-то из скромных — может быть из тех, что надрывались днем, таща бревно, работая на кухне, добывая пшенку. Интеллигент русский, давняя Голгофа родины, человек невидный и несильный, перекрестит лоб. И матери и сестры, и невесты, что оплакивают ближних, пожранных свирепой жизнью. Наконец, даже и ты, солдат-красноармеец, воин новой жизни. Все сюда собрались, все равны здесь, равенством страдания, задумчивости, равенством любви к великому и запредельному, общего стояния пред Богом.

Служат старые священники. Есть, впрочем, также молодые, но иные уж, чем раньше; все иное. Все попроще, победней, и будто строже. Будто многое отмылось, вековое, цепенившее. И будто бы Никола сам, помощник страждущим, ближе сошел в жизнь страшную.

Колокола звонят. Свечи теплятся. Ризы сияют на иконах, хор поет. Любовь, спокойный, светлый мир зовет. «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененние и Аз упокою вы». И снова, и снова, как Рахиль древняя, как Мария Матерь Господа, омывает мать слезами постаревшее свое лицо, мать над сыновним трупом, над женихом невеста, и сестра над братом. И сердца усталые, души, в огне мятущиеся, души, грехом палимые, изнемогшие под грузом убиенных — все идут сюда, быть может, и палач и жертва, и придут, доколе живо сердце человеческое.

Хор поет призывно: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Девушки в платочках беленьких, как сестры милосердия, прислуживают при служении.

V

Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремленья — это ты, Арбат. Ты и шумел, и веселился, богател и беззаботничал — ты поплатился. По тебе прошли метели страшные, размели тебя и замертвили, выели все тротуары твои, омрачили, холоду нагнали по домам, тифом, голодом, казнями пронеслись по жителям твоим, и многих разметали вдаль. Залетел опять, как некогда, поэт золотовласый в чуждые края; умчался и поэт бирюзоглазый к иностранцам. Многие поумирали. А кто выжил, кто остался, те узнали, жизнь, грозный и свирепый лик твой. Из детей стали мужами. Окрепли, закалились, поседели. Некогда уж больше веселиться, и мечтать, меланхольничать. Борись, отстаивай свой дом, семью, детей. Вези паек, тащи салазки, разгребай сугробы и коли дрова, но не сдавайся, русский, гражданин Арбата. Много напрешил ты, заплатил недешево. Но такова жизнь. И не стоит на месте. Налетела буря, пронеслась, карая, взмешивая, встряхивая — стала тихнуть. Утомились воевать и ненавидеть; начал силу забирать обычный день — атомная пружина человечества. Снова стал ты изменяться, сам Арбат. И с удивлением взирает рыцарь в латах, рыцарь задумчивый с высоты Калошина, что человек опять закопошился за витринами магазинов, и за дверками лавченок, мастерских; что возится и чинит плотник, и стекольщик заменяет пулями пробитый бём на новый, и старательно расписывает живописец вывеску над булочною. Вновь толпа наряднеей. Вновь стремятся женщины к одеждам, а мужчины к деньгам. Вновь по вечерам кафе сияют, и из книжных магазинов книги смотрят, и извозчики снуют. Блестит Арбат, как полагается по вечерам. И тот же Орион, семизвездием тайнопрельщающим, ведет свой путь в пустынях неба, над печально-бурной сутолокой жизни.

А ты живешь, в жизни новейшей, вновь беспощадной, среди богатых, бедных, даровитых и бездарных, неудачников, счастливцев. Не позабывай уроков. Будь спокоен, скромен, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанные, столь поруганные. Слушай звон колоколов Арбата. В горестях, скорбях суровых, пей вино благости, опьянения духовного, и да будет для тебя оно острей и слаще едких

слез. Слезы же приими. Плачь с плачущими. Замерзай с замерзшими и голодай с голодными. Но не гаси себя, и не сдавайся плену мелкой жизни, мелкого стяжательства ты, русский, гражданин Арбата.

И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею улицею три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную проведет. Так, расцветет мой дом, но не заглохнет.

А старенький, седой извозчик, именем Микола, проезжавший некогда на санках рваных по Арбату на кляченке Дмитровской, тот немудрящий старичок, что ездил при царе и через баррикады, не боясь пуль, и лишь замолк на время — он уж едет снова от Дорогомилова к Большому Афанасьевскому.

Москва
1920 г.

БЕЛЫЙ СВЕТ

Бедная жизнь, малая жизнь, что о тебе сказать, чем порадовать? Не сердись, и не обижайся. Будем скромней. Ведь в тебе несусь, ты принимаешь, и снежок зимний на Арбате зимнем посыпает и меня, да и тебя, ветр завивает и уносит, все уносит, рады мы или не рады.

Ты б хотела быть пышней, нарядней и могущественней. Может быть, и я бы превзошел себя.

Но есть судьба. Тебе и мне. Хочешь не хочешь, ее примешь. Я — уж принял. Я живу в ней, в ней иду. Прохожу сквозь тебя, жизнь, и посматриваю. Печаль, веселье и трагедия, цена на молоко, очередь в булочный, новый декрет, смех, смерть, пирожные и муки голода — все вижу и, пожалуй, знаю.

Заповеди счастья:

I. Помни о печке. Сложи каменную. Не забудь о дымоходе, полюби дрова, знай смысл полена. Если нету дыма и тепло, то ты в преддверии.

II. Ешь. Продавай штаны, женину юбку, книги, старые подсвечники и этажерку, только не ослабевай, иначе уж не встанешь.

III. Спи, или ты не выдержишь. Но выдержать ты можешь, должен. Ведь другие же выдерживают, да и мудрость, правда, уж не так огромна.

Снег, пушисто на Арбате. Мягкий скрип саней, автомобиль несется. «Чайная-столовая», «Гастрономия N», папиросы и пирожные. «Есть свежие булочки». «Извозчик, на Солянку!» «Полтинник, барин».

Галифе с дамою румяною, в многомиллионном палантине катят.

У стены политики газету поедают. «Крах капитализма». «Надо бить в набат». «Держите порох сухим».

И летит ворона, села на крест церкви Николы Явленного, покаркивает себе. Белый же снежок все посыпает, и меня, и тебя, и коммуниста, и спекулянта в соболях, и чудака с моноклем, в рваном котелке, опорках, с мешком рухляди, и с видом элегантно-стынущим — деловито шествует он улицей, невдалеке от тротуара.

Бело, пустынно. Ты идешь. Страдал ли ты, был счастлив, строил планы? Надеялся, мечтал? — Но тут ты кланяешься: много на Арбате, ведь, знакомых.

И дальше в белых буднях. Дни твои восстают, умирают, виденьями скромными, между хозяйством и литературой, Арбатом, лавкою книжной, книгами и газетами, в вихре политики, рушащегося и строящегося. Снова: будь скромен, и не заносись, приказчик за прилавком.

— Есть учебники?

— Древний мир, Иванова?

— А-а, скажите, нет ли о театре?

— Хозяин, азбуку.

Барышни Блока, Ахматову. Актрисы — Уайльда. Философы — о Гегелях, дамы постарше — в детском.

Важный субъект:

— Нет ли восемнадцатого века?

Хлопает и затворяется входная дверь, потрескивает печка, издатели приходят, философы беседуют — о выдаче пайка. Нуждающиеся в пшенке тащут свои книги, другие оставляют сотни тысяч и выносят связки, дверь все хлопает и затворяется, дамы, мальчики, снобы, студенты, поэты, техники, букинисты . . . где конец? где начало?

А за кассой твердою рукою ведет дела дома торгового ясноокая Паллада. Вспыхнет электричество в четыре, в шесть погаснет. Тьма, снежок. Хладные улицы, зеленые огни.

Сиянье дальних океанов, древние наречия, озера, тонкий свет пейзажа, поля риса и монастыри буддистов, перезвон неведомых колоколов и легкий танец радости и сонный плеск весла бамбукового. Изящно-краткий звук стиха. Лепестки

вишен, падающие в фарфоровую чашечку вина златистого.

Малые основы жизни:

I. Пайком не брезгай (не гордись). Разговаривай о нем почтительно, не пропускай буквы своей, записывайся до света; бери с собой бечевок и мешки. Не позабудь бутылок. Осмотри санки. Терпи в очереди, не кричи, что дали масло горклое или мясо с костью. Не волнуйся и не нервничай.

II. Почитай примус. Он твой домашний лар. Наблюдай за жизнью его. Чисти иглой. Поршень, если ослабел, размачивай в стакане с кипятком. Делай возлияния ему чистейшим газолином.

III. Затыкай все щели. Вентиляции, ведь, хватит. Холод же придет наверно.

Хочешь похворать? Что же, ложись. Сначала это странным может показаться. Жена тоже больна, и некому ходить за хлебом, скромно мерить Арбат зимний, ждать у касс, получать сдачу. Некому отправить девочку в гимназию, затопить печь, готовить. Ты ложишься, не без удивления. Знобит. Устало тело. Белый, зимний день в окне, и снег попархивает. Но покойно в сердце! Что ж, ты невиновен. Сколько мог, трудился. Ставил самовар. Мыл посуду. Распалял примус — человечье имя у него — Михаил Михалыч. Но, вот, наконец, настигли и тебя. Неважно. Даже славно, отдохнуть и ни о чем не думать. Жизнь же? Жизнь наладится, наверно. Велика Москва, любвеобильна. Не покинут добрые.

С улыбкой думаешь:

— В Москве, да чтобы дали сгинуть? Вряд ли. И действительно, устроишься. Кто-нибудь пойдет к аптекарю, кто-нибудь самовар наладит. Добрая душа уберет комнату, сготовит на печурке, подаст градусник — и ты уж жив — житель беспечный на волнах хаоса — вот и день твой малый отшумел.

И хоть в хаосе — все же протекут, как надо, дни болезни, и ты встанешь, и с кувшином синим из-под молока, с корзиночкой побредешь Арбатом зимним, утренним, за малыми делами жизни. Тысячи, и сотни лет трудилось человечество, изо дня в день. Возьми и ты уголок бремени. Это — чтоб не заносился ты, не важничал.

Если заспался, молоко уже раскуплено. Тогда — к Смоленскому, приюту верному. Свернешь направо, мимо двух лачу-

жек, пустыря, где стоял дом, а ныне дерево одно торчит, увешенное тряпками.

Худая собаченка бродит, разбирая что-то в куче. Наигрывая на гармонике, шагают четверо парней, в тулупчиках, с лицами ясно-веселыми. С душой глубокою поют:

Вспомню, вспомню, вспомню я,
Как отца зарезал,
А любовницу свою
На дуге повесил...

Старуха на углу, сияя в снегу, со щекой подвязанной, клонится поклоном низким, древне-убого-покорным, руку протягивает — Подайте милостынку...

В конце Толстовского, преддверия рынка, бабы молочницы с флягами. Тощему интеллигенту, барыне в салопе льют кружками белую жидкость со льдинками — в кувшины, кастрюлечки, махотки.

Смоленский! Средоточие Москвы, знамя политики, сердце всех баб, солдат и спекулянтов, родина слухов, гнездо фронды, суета, базар, печаль, ничтожество и безобразие убогой жизни. Кишит толпа, вечно кишит, с утра до вечера. Ее разгонят, оберут, засадят кой-кого — вновь собираются, торгуют в переулках, откупаются, — но все-таки торгуют, все же норовят друг друга объегорить где-нибудь сорвать, на чем-нибудь нажиться. Долго разгоняли, — но неутомимый, юркий бес все ж одолел — и невозбранная гудит маммона. В палатках продают духи и гвозди, мыло, башмаки и бриллианты, статуэтки и материи, торговцы опытные; а напротив, длинными рядами вытянулись мизерабли, на себе принесшие отребья. На снегу — чернильница и дамские чулки; старинная миниатюра; кружева. Вот женская рука вытягивается, в перчатке черной — кольца на ней нацеплены; старенькая дама стынет, леденеет над такими же, как она, старыми книжонками. Две девушки накинули сверх шубок платья; бритый барин в котелке предлагает тряпочные куклы. И временами все сторонятся — тарахтит форд, прокладывая вольную дорогу, путь начальства, власти, самоопьянения.

Опять сомкнутся вновь безмолвные ряды просящих лиц, сизых носов, глаз слезящихся, вновь ходят по рядам дамы нарядные, скупщики, спецы — без конца и без начала чело-

вечья орда — сутолока, под серым небом с пролетающими галками, снежком, зигзагом реющим. Галдят, торгуются, пробуют материи, едят на лотках ситный, жуют свинину, разбирают сахар краденый, завертывают масло.

Вблизи молочниц, на снегу улицы — в раме гравюра. Отдых Пречистой на пути с Иосифом в Египет. Богородица уснула. Лишь Младенец тянется к двум ангелам — один протягивает ему плошку, а другой дает еду. Иосиф в отдалении. И справа, за скалой, где приютились путники, спокойный, мирный слон.

«Buturum et mel comedet ut sciat reprobare malum et eligere bonum» — подпись.

А внизу:

«Ferdinando III Austriaco Magno Etruriae Duci — Nicolaus Poussin».

Так вот где Ты, Спаситель и Египет, и Пуссэн, Этрурия! Так вот где. Смотрим и молчим, проходим с только что добытым молоком, которое снесем домой и будем аккуратно кипятить, задабривая газолином свежим нашего Михаила Михайловича, чтобы не спесивился и загорался пламенем изжелта-голубеющим.

— Забубнил, Михаил Михайлыч!

Но тогда не упускай минуты, путник, мешай ложкой молоко свое, чтобы не пригорело, не ушло, не хлынуло волной кипящей. Этого не любит наш Михаил Михайлыч. Он обидится, и сам же ты потащишь прочищать его к старичку на Арбат.

Дубы оракула в Додоне, снег Парнаса, мед гиметский, Ликабета холм над Афинами, сумрак вечерний и огоньки в городе — дальний, безбрежный вздох ветра с гор. Стрекотанье цикад. Запах тмина. Круг моря, смутно висящего, нас сторожащего, гор оцепленье.

Мраморы Элевзина! Плеск волны, Нереиды и розы, гробницы Аттические. Медленный лет пчелы.

Идем и покупаем новую бутылку красного вина. И — легкий дым забвения и возбужденья в пути полуденном — туманные очарованья.

Михаил Михайлович, ты не плох, ты друг. Печь — ты помощница. Дрова — союзники. Стены — защита. Окна — гла-

за наши в белую улицу, со снегом, и зимой, бегом саней, ходом людей, мало-печально-радостной жизнью нашей.

Здраствуй, чистильщик сапог, болгарин жуковидный на углу Кривоарбатского. Пирожницы и дамы папиросные, счастьеискательницы мерзнущие на морозе. И кассирши в гастрономиях, и девочка, сбирающая корки за зеркальной дверью булочной.Мизерабли, дрогнущие в очереди к хлебу, и убогие старухи, руки тянущие, и приказчики, и буржуа в своих лавченках — здравствуйте.

Ну что же, где же драмы и томления, и страсти сердца, и любви мечтанья? Как пустынно! Как легко идти.

Белое небо, белый снег порхающий, белая жизнь, белая душа. И летит бойкий автомобиль, трамвай гремит. А навстречу ему баба, впряжена в рекламу. На тележке надписи. Там и актеры, пение, кабаре. Подвалы, *радость*. Может быть, вино?

Сумерки, церковь Николы Плотника. Можно бы и зайти. Открыта дверь. Сумрачно тоже, и холодно. Несколько человек. Гроб посредине, маленький. Весь в цветах. Свечи — смутное золото. Смутно и темно — холодно по углам. Двое у изголовья — отец, мать . . . — Поправила складку на покрове, цветы передвинула, а рука держит свечку, не бросит. И все только смотрит на кудерьки черные, на узенький, на лбу, венчик, провалы глаз. Девушка плачет. Красноармеец у двери. Священник в серебряной ризе, и дьякон.

Долгим лобзанием поцеловала, припала, крестом смертным осенила. Вновь цветы поправила.

Крышку наставили — и застучали.

Вот она, Властная, в маленькой, бедной жизни нашей. Тысячи тысяч косит, купается, радуется, мы же идем да идем. И смеемся, работаем, пьем. Живем *ежедневно*. Вон спец в меховой куртке, желтых ботфортах, зашел пообедать в столовую. С военным бежит в синема советская барышня, румянощекая, на крепких, как свайки ножках.

А нищие? Дети вспухающие? А людоеды? Нищему подаяние. Людоеды — не тем будь помянуты к ночи. И дальше: весна

придет. Растает снежок арбатский. Вперед, все дальше, несется.

Судьба? Так что ж. Терпи, трудись спокойно, в области высокой. И надейся. Мечтай: об океанах, о далеком, о неведомом. Не всегда же Арбат. Иди в прохладном свете зрелости, с улыбкою печали-радости. Малая жизнь, ты не Верховная. Не связать тебе путника. Он смотрит, но он жив, *желает*.

И средь трагедии и фарса, цены на молоко, возни с обедом, очереди в булочной, средь смеха, смерти, сладких пирожков и рева голода подъемлет свой бокал, с вином крови подобным.

Белый же снег смутно, бережно нас осыпает крылом хладным.

Москва
1921 г.

ДУША

Сентябрьский,
свеженький денек.
А. Белый

Девочка попросилась в церковь. Мы нередко ходим в церковь с ней, по летнику, за полторы версты. Но нынче, я уж чувствую, хочется ей поглядеть свадьбу, после обедни. Брат, приехавший ко мне из города, чтоб отдохнуть, собрался с нами.

И хоть несколько капель крапнуло с бледно-лиловеющего неба и звонили уж довольно отдаленно, мы идем садом среди золотеющих антоновок, меж кленов златоогненных, чрез рощу, ясным полем с изумрудом зеленей. Девочка впереди. Видит она лошадь и меня дразнит ею:

— Папа, это Чижик наш на зеленях.

Разговор мой с братом ей неинтересен.

В беленькой головке со светлыми косицами, в быстрых ножках — юная душа, тайное соединение отца и матери ее.

Может быть, их страсти, горечи и недостатки в ней смешались, переплавились, родили серебро гармонии. И ей близок жаворонок, синева далей сентябрьских, смех ее чист; вся она — круглая, хоть и остренькое личико у ней.

Когда мы прошли кладбищем и слегка спустились к роще, чтобы обогнуть ее, то показались люди уж из церкви: несколько девиц, да на лошадях двое прокатили.

— Может быть, не идти уж нам в церковь. Ведь обедня кончилась, — говорит брат.

Но мы пошли, девочка настояла.

Церковь почти пуста. Небольшая группа окружает батюшку чернобородого; он служит панихиду пред иконой. Свечи бледно горят. Все здесь перебывают. «Приидите ко мне вси

труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы». Сколько все мы настоялись, и наплакались, служа об убиенном, также о скончавшемся.

Свет Пречистый, поддержи нас . . .

У могилы, вблизи церкви, с белым крестом березовым, сидим на древней плите соседнего упокоения. Когда, назад два года, хоронил я здесь отца, сторож кладбищенский сказал: «Место хорошее, все князья лежат». Несколько плит тяжелых и замшелых, с высеченными надписями славянской вязью . . . Не прочтешь теперь, а все лежат. Береза листик золотой роняет; несколько кустов акаций, камни, кое-где бурьян, да вид на речку и шоссе, серпом взбирающееся на взгорье. Двое подымаются по нем в тележке.

Курим. Синеет наш дымок от папирос.

Девочка рвет цветы. «Дедушке на могилку». С ней еще дети, наши же, деревенские.

— Ну, — говорю я ей, — домой.

Она подходит и смеется.

— Не хочу. Венчанья дожидаться буду.

Целует меня в щеку и слегка трясет за бороду.

Черноволосый батюшка, в черном подряснике, монашеской скуфейке, слегка осклабясь, приглашает нас напиться чаю, в домике напротив.

Дом поповский, жизнь поповская, сам поп. Как крепко . . . Мы за столом заедаем чай со сливками медком, свежейшим маслом на лепешках. Кот проходит. За перегородкой дети зашушукали, возня. Образа слабо золотеют в уголке.

— Да-а, яблочками попользовался мой сосед, попользовался . . . — говорит чернобородый иерей с карими, моргающими глазками, дуя на блюдечко.

— Да-а. И что бы поделиться?!. То этого как не бывало, хоть ведь я, имейте в виду, сам теперь вместо него священник и церковным садом мог бы пользоваться. Да-да-а . . .

Все у него есть, да все обидно, что у других больше. С горечью он вспоминает про других попов, у кого чего много, и у всех как-будто изобильнее, чем у него. Много и у огородников. Много у мельников, наживающихся на счет советов. В Климовском прихожане пятьдесят пудов муки священнику собрали.

— Кушайте, покорнейше прошу . . . Медку еще. Да, да-а . . . времена.

Быстро моргает глазами и говорит, что хоть то хорошо: мужиков оберут.

— Это им, чтобы знали, да-а . . . чтобы понимали жизнь теперешнюю.

Даль в окне синеет. Грачи стаей плавают над ригой.

Так девочка и не вернулась. Она осталась с приближенными друзьями дожидаться свадьбы — милые цветы украсили могилу, а мы шагали летничком домой, средь нежно серебристых далей сентября.

Так тихо, так все благозвучно, светло, мирно.

Все понять бы. . . Принять, одобрить и благословить. Как будто нет той жизни — страшной, грубой и безжалостной, где мы живем. Как будто нет и наших прегрешений.

Страна лежит, страна молчит. Солнце за перистыми облачками серебреет.

Подходя к роще, паром полынным, ошмурыгивая горькую полынь, мы говорим о счастии и цельности, гармонии и раздвоенности, праведности и греховности, о тех делах, мыслях, стремлениях, с коими — тысячелетия — входит в жизнь человек и выходит из нее.

Синеющим, прозрачно-перламутровым, оком опаловым смотрит на нас даль, слушает душой эфирной.

Нежно алеет и золотеет в лесах. Хочется, чтоб журавли пролетели.

Роща, сад, дом.

Мало осталось этих домов, террас, покойных видов с них, покойных семей, мирно пьющих чай на воздухе. Многое сожжено, попалено, — как в видимости, так в душе. Но мы живем. И мы за что-то заплатили; за свои неправды, за прошедшее. Меч Немезиды многое сразил. Но, все-таки живем. И даже чай пьем на террасе маленького дома и обедаем в дни теплые. И пообедав, как сейчас, играем с братом в шахматы, за стареньким столом, крест на крест ножки, с крупными квадратами для шахмат, белыми, гнедыми.

Мы молчим часами. Серебристый день покоен. И ни свет, ни тучи. Как тепло! Как хочется быть кротким, добрым. Позабыть. Простить.

Движутся фигуры на доске, ведут призрачную борьбу. С

клена падает лист, кружась. В красном стеклянном шаре перед террасою мир отражен.

Дали безмолвны, светлосеребряны.

О, если бы свет разлить,
О, если бы Лик любить,
О, если бы Миг продлить.

Но его не продлишь, не убавишь. Ушел, новые листья с кленов падают, новые думы в сердце проходят, иные дела, малые, бедные совершаются.

Девочка с девочками из церкви вернулась, отдельно обедает. Бабушка на нас ворчит — зачем все позволяем.

— А мы даже и свадьбы-то не дождались, даже и не приезжала свадьба-то, три раза правда, — доносится из столовой.

Бабушка наша серьезная и основательная. И сейчас все зовут ее барыней. Не обижают.

— И напрасно дожидалась.

— Бабушка, ну как ждать-то интересно бы-ыло. Ждали мы — я, Надя, Катька ротастая, Катя-клавиш . . .

Если я зайду во флигель, где живу, то увижу стол свой, книги, снимки, — тот угол, который удивляет моих граждан, что случайно забредают в мои комнаты. Одних смущает Микель-Анджелова «Ночь», повешенная над диваном, для других загадка — Данте бронзовый. Иногда и сам я удивляюсь. Мне, во-первых, странно, почему в бурю эту уцелел мой угол; и второе, — занимаясь, например, читая Ариосто, иногда я не могу не улыбнуться, и я думаю:

— Мог ли воображать поэт, что в стране руссов, отдаленнейшей Московии, через четыре сотни лет, в годы вихрей и трагедий, друг неведомый прочтет его творенья?

И тогда бывает гордость, и какая-то особенная радость на слово наше, человеческое, несущее мне душу дальнюю, живую.

Я войду и в другую комнату, увижу там кровать, икону Божьей Матери в ризе серебряной, на столе, убранную иммортелями. И с ней рядом из трех фотографий взглянет на меня лицо молодое и бодрое, взгляд острый, почти задорный . . . И нож быстро ополоснет сердце, и не отразить ножа, не отразить. А вот и девушка, ему близкая — тоже ушедшая. Вот его друг, лицо полудетское — мученики времени, жертвоприношения сердец наших и удары Рока.

Вспоминая кровь, должен сдержаться. Это трудно.

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас . . . »

Много здесь выжито, много здесь перемучено. Но это — жизнь.

На столе Богородица в ризе серебряной. О Ты, прибежище всех матерей истерзанных. «Благодатная Мария, Господь с Тобой».

— Папа, на сходку, скорей, зовут!

Девочка приотворяет дверь, для убедительности вновь кричит:

— Три раза правда.

Убегает.

— Стой! Куда?

— Некогда мне, за коровами!

И ее капор белый, синенькое пальтецо, косицы две мелькают уж далеко.

Что же, идем на сходку. Граждане зовут.

Прохожу тропинкой к деревне, садом. Этот сад отец сажал. Он теперь — деревенский. Но и нам оставила деревня долю нашу. А в этот год, голодный, чтобы у нас и у деревни сада не отняли — я хлопотал. Успешно. Недавно баба ухватила меня за руку, пожала, а потом вдруг наклонилась, к моему конфузу, руку мне поцеловала.

— За хлеб-соль. Теперича голодовать не будем.

Трудно об этом вспомнить без улыбки. И идя сейчас садом, в первый раз сильно принесшим яблок, я чувствую: сад насаждал не я. Так и не удивительно, что он не мой. Это вовсе не удивительно.

Барин я или не барин? Странник, нищий, или господин, которому целуют руку?

Сходка — перед комиссаровой избой. Вокруг столика зыбучего, под рябинкой, на завалинке, крылечке, на трехногих стульях и скамье, под вечереющим сентябрьским небом заседают граждане мои. Раньше я их знал мало. Теперь — больше. Помню, я их стеснялся, ибо был вдали от интересов их, стремлений, вкусов. А сейчас, по-моему, они меня стесняются. Мы совсем в добрых отношениях. Но меж нами — про-

пасть. В разные стороны мы глядим, разно живем, разно чувствуем. Я для них слишком чудно́й, они для меня — слишком жизнь.

«Жизнь, как она есть . . . »

Невесело.

Записывают, сколько кто посеял, что собрал. Сколько отдать, куда везти. Все мрачны. Впереди голодная зима.

Среди унылых будней вдруг из-за ракиты выглянут глазенки детские, знакомые косицы; светлым, теплым проблеснет оттуда. И за ужином рассказывает девочка:

— Мой папа на сходке бы-ыл, уж он там с мужиками разговаривал, а я подслушивала. А потом мы: я, Катька ротастая, Катя-клавиш, Серенька, Оля, в ночное ездили. Уж хорошо ехать было, я рысью ехала, и даже Серенька догнать не мог.

«Жизнь, как она есть» — долой.

И в то время, когда девочка с друзьми скачет на овсянище, или к дубкам на ржанище, отец выходит в поле, как и много лет он выходил в поля родные на заре. Как здесь безмолвно . . . Как знакомы дали, очертания лесочков, нив и колоколен. Вечером в поле кажется, что людей нет, а есть Бог, вечность, природа, медленно, беззвучно протекающие.

«Ничего не было и не будет».

Или:

«Все было уже, и все будет».

Несколько позже: стоим у опушки рощи дубовой. Луна в ясном небе. Зелень в слабом серебре росы. Точно мерцает, мреет что-то над ними, как серебряные ризы Богоматери.

Одень покровом своим бедный мир, дохни сиянием своим в души страждущие.

Вечером, когда детские уста станут произносить слова молитвы: «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу» . . . Ты сойди, душа мира, Свет мира, Богоматерь в ризах серебряных, «осени души страждущия».

Мы стоим. Смотрим, слушаем, два призрака, два чудака в пустынях жизни.

Притыкино
1921 г.


IV

АВДОТЬЯ — СМЕРТЬ

I

Через два дня, как выпал снег, когда в комнатах стало светлее и вместо тряской, мерзлой земли розвальни заскользили по белеющей прохладе, когда запахло до слез остро снегом и пронзительно-горестно выступили свинцовые дали, — в деревушке Кочках у комиссара Льва Головина появилась баба. Лев, человек огромный, вялый, с грыжей, с большим носом, рыжеватой бородой, привык ничему не удивляться. Он копошился у розвальней, ладя по новому оглоблю, когда высокая, тощая баба окликнула его.

— Мы самые и есть, — ответил Лев, с усилием, изо всех сил затягивая петлей веревку. — А ты кто же будешь?

— Что ж, милок, или меня не узнал? Еще Матюшкина-то вдова, вашего же, кочкинского? А как я теперь без пропитания, да бабка на руках слепая — разрази ее Господь — да Мишка несмышленый, жрать-то нечего, прямо как рыбочка бьешься . . .

Баба мало была похожа на рыбочку, говорила низким, почти мужским голосом, но всхлипывала искренно.

— Ну, вот, я сюда и подалась, и подбежала . . .

— Та-ак . . . — Лев равнодушно почесался. — Матюшкина вдова? Да он что ж у нас жил? Он у нас, почитай, и не жил. Все в городе околачивался.

— Как так околачивался? Забыл ты все, милок, и меня, тетку Авдотью, не признал . . .

— Тебе чего же надо?

За плечами у Авдотьи висела котомка. Худа она была до

чрезвычайности. Опираясь на длинную палку, пристукнув ею, придвинулась шага на два.

— Как чего? Вы-то, небось, барскую землю забрали, а ведь я тоже обчественная, как рыбочка бьюсь, бабка слепая, Мишка несмышленный...

Дело было ясное, несмотря на множество ненужных слов. Она хотела, чтобы ей прирезали земли. Лев это сразу понял, но сначала сделал вид, что не понимает, а когда долее не понимать стало нельзя, принялся равнодушно объяснять, что хоть и правда, взяли землю у господ, но ее стало даже меньше. Лев Головин глубоко был уверен в правде своих слов. Но сразить Авдотью тоже нелегко. На слово она отвечала десятью, бледные ее губы дрожали, мужской голос хрипел свое, она постукивала палкой и плотнее наседала на Льва.

— Тогда уж надо обчеству... как обчество тебе решит, так и быть.

Под *тогда* Лев разумел: если уж ты такая стерва, что от тебя мне не отделаться, так пускай общество отделывается.

И как ни безразличен, медлен, от ноющей грыжи, ни меланхоличен был комиссар Лев Головин, все же ему пришлось под вечер созвать сход и доложить о деле. Никому не было оно в радость. Но Матюшка, правда, некогда жил в Кочках. У него нашлись даже родственники. Авдотья, как приблудный пес, сидела на крыльце и грызла корку.

— Я это, значит, оглоблю лажу, — рассказывал комиссар медленно и грустно, — а она вот как вот... И откуда ее принесло? Из-под земли выскочила! Или уж ее ветром к нам надуло, со снегом, по первопутку?

— Ее надуешь! — сказал кривенький мужиченко Кузька. — Она сама, смотри, какого ходока задает. Я видел. Я с ней говорил. Прямо... Из ноздрей огонь. Что твой скакун.

— Как ее упокойный муж, действительно сказать, был наш кочкинский, то не миновать нам дать ей землицы, что мы на этом сходе и должны привести в действие, — бойко произнес одутловатый человек с шарфом на шее, бывший приказчик, а ныне состоятельный крестьянин Федор Матвеевич, — и этим решил дело.

Постановили земли дать на одну душу. Поселить в бывшей господской молочной.

Узнав об этом, Авдотья перекрестилась, низко поклони-

лась мужикам и взяв свою палку, огромными шагами зашагала первопутком к станции — за Мишкой и бабкой.

— Видишь, как чешет, — сказал Кузька. — За ней на мерине не угонишься.

Авдотья быстро скрылась во мгле.

II

«Бывшая господская молочная» — значило небольшая изба, с земляным полом, где некогда гудел сепаратор. Рукоятку его вертела тогда Маша Головина, она же наливала фляги Николая Степановича и отправляла их на станцию. От этого былого, как от романа Маши с Пермяковым, мало что осталось, кроме самой избы. Крестьяне деревушки Кочки давно забрали барских коров, и с огорченьем сами вынуждены были их отдать в совет. Сепаратор продали куда-то. Николай Степанович, столь любивший чинность и порядок, так и умер в очках и старой своей форменной тужурке. И из большого дома, со второго этажа которого был виден пруд, угол липового парка и бутор перед глазами, замыкавший горизонт, Варвара Андреевна не по своей воле переселилась во флигель. Но как раз она и изменилась меньше всех. Хотя владела лишь наделом (считаясь членом кочкинского общества), но так же строго и спокойно принимала комиссара Льва Головина на кухне, говорила ему «ты», и в бобровой шапке, шубке, с палочкой, медленно и властно обходила прежние свои владенья, заглядывала в амбар, половину которого — награду за боевые заслуги — увез летом красноармеец Филька, подкармливала кур и голодных стариков, занимавших часть большого дома, продавала мельнику-соседу кое-что из старья, и как и встарь обладала непререкаемым авторитетом. Лиза за это время потеряла мужа. Возвратилась на родное пепелище — в прежней девической своей комнатке учила кочкинских детей — все, как по старому.

Когда в один прекрасный день Авдотья со слепой бабкой, с Мишкой, двумя петухами, сундуком и разным жалким скарбом ввалилась в усадьбу, Варвара Андреевна не удивилась. Она вообще была выдержана, за это же время ее старые, не-

когда очень красивые глаза привыкли все принимать как должное.

— Еще одна пан-сионерка у нас появилась, — сказала она Лизе, отдавая комиссару ключ от избы. — В молочной будет жить.

Варвара Андреевна произносила «пан-сионерка» с французским выговором, так учили ее некогда в Петербурге, в пансионе мадам Труба. Но мало похожа Авдотья на прежних ее сотоварок.

— Подумать только, что вот и эта Авдотья была молода... Может, любила кого, замуж выходила...

— Ну, это ничего не значит. Знаешь, как у них: нужна работница в дом. А невеста смотрит, какая у жениха стройка.

Варвара Андреевна вообще была скептик. На многое, что волновало, или восторгало Лизу, смотрела равнодушно. Лиза так привыкла, что всегда мать для других жила — для отца, для нее, Лизы, — так ей было ясно, что некрупная старушка эта есть образец безупречный, что даже этот холодок был свой, давно привычный. Как привычно, хоть и грустно было то, что мать безразлична к вере.

Авдотья же не занималась тонкостями, нежностями. Она кипела. Ей все равно, верит или нет слепая бабка. Но огорчало, выводило из себя, что бабка «много жгрет».

— Ах ты, пралик тебя расшиби, волосатик тебя заешь, — кричала она мужским голосом, — да что ж мне на тебя, на старую кобылу милостынку собирать? Я бегаю, бегаю, прошу у добрых людей, все ножки отбегала, а она жгрет да жгрет, знай, лопает, у-у вредная стерва...

Стерва безответно сидела на завалинке, пялила слезящиеся бельма и ждала, когда дочь даст ей по уху. Ждала не напрасно. Мишку Авдотья трепала за уши, а бабку била кулаком, иногда палкой, прямо по лицу. Бабка стонала — по старости громко кричать не могла. На другой день лицо ее покрывалось зелеными пятнами.

На одну из таких расправ наткнулась случайно Лиза. Как и в детстве при виде жестокостей и надругательств, вся побелела, и сразу почувствовала тошноту.

— Что вы делаете, Авдотья...

Обернувшись, та увидела «молодую барыню» — и сама испугалась: не грозности этой барыни, а того, что она, все-таки, «барыня».

И отскочила от бабки.

— Да я, милок, я это маленько... только что поучила... У-у, она вредная... вы ее барыня, не знаете.

— Да ведь она вам мать...

— Только и делает, жгрет с утра до вечера, а уж я и все ноженьки отмотала... Ты чего, паршук, смотришь, — крикнула на Мишку, с любопытством взиравшего, как «учат» бабушку. — Я тебе задницу-то надеру, колесом у меня пойдешь, сукин кот...

— Сама сука... — Мишка осмелел, что рядом Лиза, и шморгнув носом, стреканул ко флигелю.

Лиза почувствовала, что дальше ничего сказать не может, расплачется — и махнув рукой, пошла к себе во флигель.

Варвара Андреевна много спокойнее отнеслась к делу.

— Ты очень жалостливая, и всегда такая была. С ними нужно крепче нервы. Они все такие. А ты думаешь, другие лучше? Они не так чувствуют, как ты...

— Ах мама... бабка старая, слепая. И с каким ожесточением она ее колотит...

— Ну, кто же говорит! Кто это одобряет! Вот, придет ко мне, я ей такой реприманд сделаю...

Авдотья заявилась в тот же день, в сумерки. Клуб пара и холода ворвался в кухню, когда костлявой рукой, резко дернувши входную дверь, она вошла с мороза. В руках длинная палка. Как всегда, рваный тулуп, глаза белесы, беспокойны.

— Я к вашей милости, матушка барыня. Там вот это, позади хригеля вашего березочка одна такая... на кой она вам? А я прямо мерзну, силушки моей нет, пол холодный, бабка жалится.

Варвара Андреевна стоит посреди кухни, около плиты, и смотрит, как вскипает каша.

— Нет, нет, березку не позволю. Это баловство. Руби хворост в овраге. Там сколько угодно. Да вот еще что: если ты у меня в усадьбе будешь драться, так смотри...

— Что вы, что вы, милок барыня, какое драться, я и отродясь-то не дралась, я смирная бабочка.

— Если будешь со своей старухой скандалить, так и духа твоего здесь не окажется...

Авдотья продолжает уверять, что она самая тихая бабочка. Но для барыни готова даже не учить свою стерву, а в овраг что ж, в овраг, конечно, можно сходить порубиться...

Тон Варвары Андреевны действует. Быть может, кажется Авдотье, что если барыня так властно говорит, значит, и власть имеет выставить ее из молочной. Соображает ли о том, что самое Варвару-то Андреевну и Лизу много легче вышвырнуть из флигеля, чем ее из молочной? Как бы то ни было, по остатку ли боязни, в надежде ли на мелкие подачки — их делают на кухне постоянно — Авдотья удаляется покорно.

Смирно меряет саженными шагами путь домой. Из окна смотрит Лиза, задумчиво, с сумрачным недоумением.

После ужина мать в столовой под висячей лампой раскладывает свой пасьянс. Лиза говорит:

—Знаешь, когда она так шагает, и с этой палкой... ну точно смерть. Прямо скелет, кости гремят, и за плечами коса.

Варвара Андреевна, из-под пенсне, поднимает на нее красивые и строгие глаза:

— Ну, какая там смерть. Просто попрошайка. Это тебе все кажется.

III

Николай Степаныч лежал за церковью на кладбище под белым березовым крестом. Зимний вечер трепал тонкую кожицу бересты, наносил сугроб, заметал засохшие цветы и мелкой снежной пылью пел вечную песнь печали и бренности. Лиза иногда заходила к отцу. Пробиралась полузанесенной тропкою, стояла, разгребала цветы, поправляла перекладину, крестилась, и так же истово и медленно шла домой. Нечто монашеское в ней проступало.

Близ ограды парка, из-за поворота вдруг вынырнула как со дна морского длинная и тощая фигура с палкой и котомкой за плечами.

— А я, милок барыня, в Аленкино добежать, сказывают мануфактуру привезли, по полтора аршинчика выдают... Я тут одним махом, к обеду домой...

«В Аленкино... — Лиза медленно подходила к дому. — Десять туда, десять обратно, к обеду домой...» И обычная тоскливость, тяжесть встречи легла на сердце.

Авдотья же в это время, на длинных своих ногах, точно бы на ходулях, неслась в горку за речкой, откуда виднелась и

церковь, и парк, и двухэтажный «господский» дом. Если бы обернулась, увидела бы и крест Николая Степаныча, но оборачиваться ей некогда, впереди поля, белые и холодные, дальние, с резкой поземкой по насту, летящей и вьющейся ледяными струями — как они извиваются, то вздувают сугроб вокруг елочки-вешки, то сметают с обледенелой лысины все до чиста! То шагает она по дороге почти что скользкой, то вдруг вязнет чуть не по колено — в малейшем ложочке. А времени небогато, засветло обернуться, да по дороге, в Кунееве, хлебушка раздобыться... хоть горбушку — и самой голодно, да и Мишка все ноет, и бабка...

— О, Господи, да убери ты их от меня, окаянных праликов! Заточили, треклятущие!

После «реприманда» Варвары Андреевны Авдотья первое время была потише, но потом приловчилась и била старуху с неменьшим усердием, но тайно, и запирала в избе, пока синяки не сходили. Била за все — за разбитую, по слепоте, чашку, за то, что обмочилась, что дверь не прикрыла. В этом-то исходила некая сила, гнездившаяся в поджаром Авдотьином теле, та сила, что гнала за десятки верст по снегам за аршинчиком ситца, краюшкой хлеба для той же «стервы». Она и сражалась, носилась, выклянчивала — в этом кипении жизнь.

И вот наступило время, когда предназначено было бабке отдохнуть от войны и боя. Авдотья в то время рыскала далеко. Мишка же с любопытством и в одиночестве слушал, как бабка стонала, охала, смешно икала. Пользуясь тем, что нет матери, Мишка босой вылетал из молочной, с криком победы, марш-марш проносился взад вперед по дороге. Это казалось ему смелым, прекрасным.

Когда в последний раз он вскочил в избу, бабка уже не икала. Мишка потрогал ее за рукав, она не шевелилась. Он испугался, побежал к «барыне».

На другой день Авдотья с утра заявилась к Варваре Андреевне.

— Барыня, дозвольте ту сосенку-то, во-о, над прудом, мужичкам срезать, там аккурат моей гроб выйдет — ох, уж долгая же уродилась, прости Господи...

Авдотья была сумрачна и озабочена, и опять недовольна — да и правда, выросла же бабка такая «долгая», чуть ли не

полсосны под гроб... Да еще захотят ли «мужички», а за попом... Ах, жизнь каторжная!

— Да-а, — говорил под вечер Лев Головин, со всегдашней медленностью и грустью, плотнику Григорию Мягкому, который пилил с Кузькой доски на гроб. — Вот и накрыла бабенка. Теперича она на нас поедет. То ей подводу дай, то дровец наруби, то вот зачнут помирать, тут и гробов не наготовишься.

— Где наготовиться, — мрачно сказал Мягкий.

— Ты погоди, вот придет весна, ты на нее напашешься. Земли ей дай, лошадь скородить дай... ты ей все дай, а она тебе, знай, как домовой кружить будет. Ныне тут, завтра в Аленкине, а там смотри, до Страхова докинется...

Лев Головин вздохнул.

— И как это она тогда, точно из-под земли выскочила... Или ее ветром надуло?

Голодный поп быстро отпел бабку в нетопленой церкви. Бабка лежала в гробу мерзлая, синяки на лбу и щеке пожелтели и все худое, костлявое, и очень длинное, что когда-то носило имя Елены, и пело песни, быть может, любило — на серых суровых полотнищах сошло вглубь земли, рядом с Николаем Степанычем. Лиза бросила ей — первая — горсть земли. И Авдотья завыла: так полагалось в деревне, а может быть, не только что и полагалось...

Мишку весьма занимало, куда прячут бабку, но мешал кашель, начинавшийся с раннего утра. Мишка зяб, дрожал. Вернувшись с похорон, забился на печку, где прежде грелась бабка.

— У-у, дармоед, знай по лежанкам лазить!

Авдотья гремела посудой, скребла, терла, видно, была в сильном возбуждении, сама как будто бы не знала твердо, плакать ей, или ругаться. На всякий случай дала Мишке подзатыльника, чтобы не «лаял». А он лаял здорово, всю ночь. Авдотья даже иногда сквозь сон слышала кашель, и с остервенением переворачивалась — поспать не даст, пралик! Вообще тяжело как-то и скверно было. Мерещился все холод, и поля, свист ветра, белые змеи метелей... В избе сильно дуло из окон и снизу, с полу.

На другой день Мишка не поднялся. Авдотья было разозлилась, но увидев, что он весь горячий, кашляет и глаза мут-

ные, не тронула. Укрыла его бабкиным тулупом, а сама пошла «к барыне» за подмогой.

— Он у тебя босиком по улице носится, вот и дождалась, — сказала строго Варвара Андреевна. — Смотри, чтоб воспаление легких не схватил.

— Да что мне, барыня-милок, что мне со стервецом поделать? Я уж ему и то говорю: запорю, сукин кот, сиди дома, уши оборву...

— Нет, нет, ты, пожалуйста, потише. Здесь не кабак.

Лиза заходила к Мишке несколько раз.

— Как у них ужасно, — говорила потом матери. — Воздух... грязь, какой-то мрак, холод... Я прямо боюсь этой Авдотьи.

— Ты всегда была такая нервная. Ну, а уж теперь, после смерти мужа... Авдотью бояться! Противная баба, больше ничего.

Лиза решила — правда, стыдно так бояться и не любить. Надо за нее молиться. И с этого дня стала она в одинокой своей молитве, поминая ближних и дальних, прибавлять имя Евдокии. Когда мысленно, стоя на коленях, в темноте, называла ее, казалось, что это не совсем та, Евдокия была как-то лучше, благообразнее, чем Авдотья-смерть. И после, раздумывая, Лиза даже стыдилась, что назвала ее смертью. «Господи, вот святые лобызали прокаженных...» И содрогалась. Если представить себе, что надо поцеловать эти белые губы Авдотьи, костяной оскал с запахом гнили, мотилы, с фосфорическим блеском глаз полуголодных... Нет, видно она недостойна!

Мишке давали, что нашлось в старой аптеке: хину, аспирин. Но он непрерывно кашлял. Метался, хрипел, и сама Авдотья вдруг стала понурой, тише мерила ходулями своими землю. Все-таки ухитрялась «добегать» к соседям, за две версты к мельнику, в Козловку к Аксюше Лапочке.

Однажды, в холодный предрождественский день, пробежавши верст шесть, в сумерки возвращалась она домой, таща за плечами, в котомке, кое-что снеди. Привычно полаяли на нее собаки в Кочках, привычно шумели березы по канаве, окружавшей усадьбу. Странным казался лишь слабенький отблеск в окне молочной. «Не спалил бы, пралик...» И она наддала ходу. Костлявой рукой крепко двинула дверь. Миш-

ка лежал на спине, неподвижно, красные его ручки сложены крестообразно, в головах теплится свечка. И Лиза. В руках у нее Псалтырь.

Авдотья не сразу сообразила. Холодная струя ворвалась за ней, она не успела захлопнуть двери, остановилась, смотрела бессмысленно на остренький носик Мишки, на бледную Лизу с глазами во влажном блеске, и вдруг вопль, хриплый, глухой поразил смрадный воздух — как стояла, рухнула Авдотья с палкой своей, с котомкой, к холодным рученкам сына.

— Сокол ты мой ясный, орел золотой, дитя ненаглядное...

IV

Дитя ушло, немного вкусив в жизни. И не велик был гроб, из той же сосны, творенье тех же старческих рук Григория Мягкого. Он лег рядом с бабкой, в нескольких шагах от Николая Степаныча.

— Ну, теперь ей будет послободней, — сказал Лев Головин, возвратившись с кладбища: — двух ртов нету. Это уж куда слободнее!

Но мужиченка Кузька заметил скептически:

— Смотри, дядя Левон, она теперь бобылкой будет, вовсе нас окрутит. То ты за нее подводу в город, по весне ты на нее паши... Нет, нам не отвертеться.

Авдотья, правда, стала теперь посвободнее. Не было двух праликов — и никого на свете больше не было. Незачем волноваться, некого бить, не на кого жаловаться, но и не с кем дома сказать слова.

Встретив как-то Лизу, Авдотья сапнула носом:

— Вот, барыня-милок, и дождалася... Враз и отчистилась...

Дома Лиза, сидя с матерью за обедом, сказала внезапно:

— Все таки, мне очень жаль Авдотью.

Варвара Андреевна повернула к ней свой тонкий профиль, и взглянула темными, красивыми глазами:

— Ведь она сама того хотела. Сколько раз говорила. А старуху, в сущности, заколотила.

— Да, но все-таки...

Лиза осталась при своем.

— Ты всегда, с детства, была мягкосердечна...

Разговор был разговором, канул, как и все, в пучину дней. Дни же набегали, пролетали. Мужики в Кочках хозяйничали, бабы возились с горшками и печками. Лиза учила, Варвара Андреевна наблюдала, Авдотья, как и раньше, все носилась. Казалось иной раз, при виде поджарой бабы с котомкой и палкой, без устали над снегами шагающей, что и правда, сам ветер несет ее...

Наступал Новый год. Ледяное встает солнце в молочно-розовеющем дыму, с востока ветер, обжигающий как пламенем, снег на буграх блестит чешуйками, режущими глаза, нет сил смотреть, только бы укрыться, отвернуть голову в затишье поднятого воротника. Но какой скрип саней! Какая музыка шипенья, визгов, свиста!

Она иной бывает в дни метели. Тогда гудят какие-то могучие басы, и ухает, и бьет — на флигель, где ютятся Лиза с матерью, вдруг налетит целая рать бешеная, хлопнет, затрясет крышей, ахнет в трубе, смолкнет на мгновение, чтобы дать место следующей, и к утру так навьет сугроб у сеней, что не отворить двери — откапывают.

В такой день возвращалась Авдотья домой из Аленкина. Вышла сразу же после обеда. Было бело, дымно-молочно, не очень уж холодно — она зашагала своими ходулями, но через час приустала. Забрела в Выселки к тетке Агафье, погреться, вздохнуть. Агафья дала ей даже чайку. Выпив, та вовсе воспрянула. Хоть и темнело, решила идти.

— Я тут, милок, одним духом... Рощицу пробегу, а уж там все под горку, так ветром домчит.

Рощицей, недавно вырубленной, а теперь заросшей тонкими осинками, орешником, дубками идти было сносно. Метель бесновалась по верхам, рвала, расшвыривала по всему полю бурые листики, уцелевшие на дубках, свистела в голых ветках, наметала сугробы у штабелей дров на просеке. Но в поле пощады не было. Авдотья все же резво и упрямо шагала под гору, там в двух верстах внизу Кочки. Лесок быстро исчез, и ветер как-то бил с разных сторон. Снег залеплял глаза, иной раз и дыханье захватывало. Вдруг стало по колено, следующий шаг по пояс. Попробовала повернуть. Несколько шагов верных — снова сбилась. Туда, сюда, везде «глыбко».

Помучилась, побилась, и решила взять направо, целиком, и до ложочка. А ложочек прямо к Кочкам.

Добралась до куста и обрадовалась — ну, сейчас ложочек, и все ясно. Ухнула за кустом в овраг — так и надо, отлично. Стало как будто тише, но уж очень много снегу . . .

В этот же вечер, перед сном, стояла на молитве Лиза. Было темно, ревела за окном метель, Лиза клала поклоны, молилась за убитого мужа, за мать, за себя. Поминала и Мишку, и бабку. Дойдя до Евдокии, вдруг увидела: ложбинка, вся занесенная снегом, и белые вихри и змеи, фигура высокая, изможденная, с палкой в руке, котомкою за плечами, отчаянно борется, месит в овраге снег, и в белом, в таком необычном свете Мишка и бабка вдруг появляются, берут под руки, все куда-то идут . . . Господи, заступи и спаси!

На этот раз напрасно плакался Кузька. Гражданам деревни Кочки не было уж никаких забот, и никаких хлопот с Матюшкиной вдовой Авдотьей.

Париж
1927 г.

СЕРДЦЕ АВРААМИЯ

Авраамий был крестьянином земли Ростовской. Смолоду силен, с рогатиной ходил на медведя, подымал четверть овса, вел хозяйство горячо, успешно — жил зажиточно. Но не легко давалась жизнь и мало радости в ней видел — по причине тяжести души. Казалось ему все не так. Изба лучше у соседа, урожай богаче, а работает меньше. Другим мельник мелет правильно, его обвешивает. У других жены статные, красивые, а его Мария и худа, бледна, и лицом не вышла. Он силен, а она слаба. «Все только норовит как бы на мне выехать». И ему казалось, что жена ленива и мотовка, на его черных, волосатых руках зашибает свое счастье.

И ел он ее поедом. Никакой оплошности не прощал, пока от горькой жизни не слегла она совсем. И когда приблизилась смерть, то заплакала Мария и сказала мужу:

— Больше на меня не злобься. Ухожу от тебя. Если чем досаждала, то прости. А я тебе была верная жена и самого тебя любила и люблю и если Бог не отринет, буду молить Его, чтобы облегчил твое тяжелое сердце.

С тем померла.

Авраамий очень пожалел ее и тосковал, и хотя видел, что другие женщины красивее, но не женился вновь. Ему стало еще труднее. «Вот у других не умирают жены, а у меня умерла. Как мне теперь бобылем жить»?

Был он благочестив, молился и просил знамения. Но оно не являлось. Когда вконец опостылел дом, хозяйство, земледелие, то пошел к старцу пустыннику, жившему в келийке, в лесах: старец ел одни ягоды, пил из ручья, имел длинную седую бороду.

Посмотрел на Авраамия, подумал и сказал:

— Сила твоя великая, плечи как у медведя, руки в волосе, а сердце косматое. Тяжкое у тебя сердце, на все завистливое и недовольное. Пока сердца не смелешь, счастлив не будешь.

— Что же мне делать, старче?

— Походи по миру, послужи Богу, коли даст тебе размолоть сердце, то найдешь себя.

Авраамий продал дом и землю, взял котомку, палку, и пошел по миру.

Собирал на церкви, служил батраком, пошел, наконец, послушником в монастырь, заброшенный в лесах, у озера Чудского. Но собирая на церковь, все гневался, как люди скупы. В батраках сердился, что на нем все счастье свое зарабатывают. Даже и в монастыре, где хлебы пек, служил в поварне и рубил дрова — не мог успокоиться: не нравились ему монахи. Этот толст, другой только и думает, как бы посытнее поесть, а третий притворяется, что молится.

И удалился Авраамий из монастыря.

Скитался он довольно долго и молился Богу, чтобы размолол ему сердце, чтобы отошли гнев и зависть, вспоминал умершую жену и теперь думал, что тогда, когда с ней жил — тогда-то вот и был счастлив, вот тогда и было хорошо.

И стал седеть Авраамий. А покоя ему не было.

— Господи, взмолился он в лесу, однажды, на берегу озера в диком Галичском краю. За что гонишь меня, бесприютного?

Пал на землю под кустом высоким, можжевеловым, и зарыдал. Поднялся — видит в десяти шагах от него зайчик — серенький, стоит на задних лапках и ушами прядает, как будто кланяется ему. И Авраамий пошел к зайчику, а зайчик легонько запрыгал по тропинке, все на Авраамия оглядывается и ушком знак подает: за мной мол иди. Так шли они ни много и ни мало, вдруг полянка и на ней часовенка. Зайчик оба уха накрест наклонил, сказал:

— Вот, Авраамий!

И сверкнул, в лесу исчез.

Авраамий прошел к часовенке и жутко ему стало, дух захватило. Никого в ней не было. Заброшена, пустынна. Ласточка легко стрекнула из-под кровли. Сырость, тишина. Вой-

дя, увидел Авраамий потемневшую икону Богоматери. Стал на колена, помолился. Точно бы полегчало.

— Что за странность, думал, что за зайчик и что за часовня, чья икона?

Но понравилось ему тут. Вынул из котомки хлеб, попил водицы из соседнего ручья и не заметил, как наступил вечер. До жилья людского было далеко. И Авраамий решил здесь заночевать. Подложил котомку под голову, лег у входа и заснул. Сон его был мирен. Увидал покойную жену, в чертах лица ее что-то напомнило лицо на иконе. Так что Авраамий и не разобрал, то ли это Мария, которую он так теснил и упрекал при жизни, то ли иная. Но она ему сказала:

— Утром ты возьмешь икону, спустишься с ней к озеру, и переплывешь чрез озеро с иконой. Снесешь ее в монастырь, где жил послушником. Довольно ей находиться здесь.

Утро было туманное и теплое. Авраамий взял икону и двинулся, но не знал где озеро, куда идти. Вдруг из-под кровли вылетела ласточка и все вилась над Авраамием. Тогда он понял, что надлежит следовать за ней. Действительно, в том месте была лодка. Авраамий сел на корму, взял весло и оттолкнулся. Икону же поставил впереди, ликом к себе. На крошечной дощечке на носу сидела ласточка.

Так плыли они по зеркальной глади. Легонький туман стелился над водой и мягко, будто кисеей завешивал леса по берегам. Авраамий слабо греб, хотя был силен. И серебряная, нежно лепетавшая струя, как риза Богоматери, тянулась за кормой лодки.

Когда выплыли на середину, Авраамию представилось, что мир уже кончается: ушла земля, осталась только гладь воды, туман да тишина. Он испытал волнение и умиление; положил весло, склонился пред иконой.

— Не бойся, Авраамий, — он услышал голос, столь напомнивший покойную жену.

— Я Богородица Умиление Сердец. По некиим молитвам и по собственному твоему томлению, я сжалилась над тобой. Беру у тебя сердце.

Сладость, но и ужас охватили Авраамия. Он еще ниже опустился пред иконою. Ласточка щебетала. Авраамий же чувствовал, как медленно, огненно перетлевает его сердце, точно

невидимая мельница размалывает его. И чем меньше оставалось прежнего, тем обильнее текли слезы.

Когда тайное кончилось, он поднялся. Икона все стояла, как и прежде. Но с величайшим изумлением увидел Авраамий, что теперь она сияла красками и чистыми и нежными. Лодка же плыла сама собой. Ласточка взвилась и подлетела к Авраамию.

— Здравствуй, блаженный Авраамие, новорожденный к любви и кротости, отныне дан тебе крест проповеди слова Божия и славы Богоматери среди неверующих и язычников. Неси икону в монастырь.

Авраамий перевез икону и отнес в тот монастырь, где был уже. И снова принят был послушником, затем пострижен и в монахи. Но теперь ничто не гневало его, не вызывало зависти и тоски. Смиренным и последним он себе казался и на все радовался, за все благодарил Бога. Ежедневно на молитве он просил прощенья за тяжелые преследования смиренной жены своей Марии.

Пробыв некоторое время в монастыре, он с благословения игумена удалился с Чудотворной иконой вглубь лесов и там основал монастырь Богородицы Умиления Сердец. А когда собралось довольно братии, ушел далее в леса и опять заложил монастырь имени Пресвятой Девы. Позже построил еще монастырь, все во славу Пречистой. И куда бы ни являлся он с иконою, таинственно обретенною вблизи озера, всюду шло дуновение милости и чистоты. Во всем диком крае, населенном тогда язычниками, стал Авраамий провозвестником и проповедником светлейшей истины Христовой.

Так по томлению, молитвам и по состраданию умер прежний Авраамий и явился новый. А на озере до наших дней осталась светло-серебристая струя, проведенная таинственной лодкой, где родилось новое сердце Авраамия.

Париж
1926 г.

ЗВЕЗДА НАД БУЛОНЬЮ

ПЛАВАНИЕ

С высоты пятого этажа вижу на тротуаре Элли. Держа в руке сумку — оттуда выглядывает зеленый хвостик морковки, всякое другое добро — она разговаривает со старушкой. Старушка худенькая, невысокая. Обе оживлены, иногда притрагиваются друг к другу рукой ласково.

Все это знакомо. Так полагается. Элли держит путь домой из утреннего странствия — священного обряда хозяек, каторги малой жизни.

Вокруг расстилаются наши края — черепичные крыши, сараи, склады, дома. Лишь вдали на горизонте, в сизо-голубоватом тумане видится другой мир: две башни Сан Сюльпис, еще дальше тоже две, страшные древностью своей — Нотр Дам. Кое-где пятна зелени, какой-то дальний подъем, там на закате ослепительно блестит иногда стекло. Мы же — преддверие разных заводов, мастерских, угольных складов. Мы второй сорт, пригород.

Сейчас мягко загудит подъемник, хлопнет дверь его, Элли со своей добычей водворится восвояси.

— С кем это ты разговаривала на улице?

— А это мадам Брошэ, милейший человек. Ей девяносто два года. Я ее очень люблю. Она меня тоже.

Когда идешь с Элли в наших краях, неведомые типы приветствуют ее — бабки, лавочники, дети. Иногда определяют: «dame russe du cinquième étage». Я тоже «du cinquième», но я просто инородное тело.

— Мадам Брошэ живет тут за углом, у нее свой домик, и она совсем одна. Совершенно. Я ее спрашиваю: «Мадам Брошэ,

вам не скучно одной?» А она отвечает, знаешь, как тут всегда: «Non, ma pauvre dame». Так полагаетсг уж «pauvre dame» — и прачка, и торговка скажет, если сочувствуют. Мне, говорит, не может быть скучно, потому что «le bon Dieu est toujours avec moi».

— Католическая бабка?

— Ну, понятно. Все меня расспрашивала, какая у нас вера. Очень довольна, что мы во Христа верим и почитаем Деву Марию.

Таково утреннее странствие Элли. Кроме свиной котлетки, моркови, апельсинов, вина, приносит она разные вести — вроде малой областной газеты. А потом у ней кухня: газ, плита, готовка. Это начало дня, он начинается, ему все равно, радостно ли тебе жить, или грустно. Он для всех один, будь ты свой, здешний, или пришлец, как мы. Он светел, равнодушен.

ДЕТИ

Темный провал отделяет его от дня следующего. Но и тот приходит. Портьеры еще задернуты, лень взглянуть на часы. Вдруг начинаешь слушать как-бы щебетание. Сперва мало, отдельной струйкой. Потом струйки сливаются — нечто вроде журчанья — небольшая, негромкая речка течет за окном, по улице, звуковая речка справа налево.

Девять часов. Дети пошли в школу. Значит, взрослым неловко валяться. Все-таки спешить некуда. Слава Богу, все школы, диктанты, задачи, курьеры в мифической дали. Было время, десятилетний человек напяливал в утренних потемках длинное пальто с серебряными пуговицами, форменную фуражку. За спиной ранец, в сердце тоска, в голове латинские предлоги. Девянадцатый век! Калуга.

Если сейчас выглянуть, то увидишь малых французских граждан, иногда с мамашами. Граждане волокут в руках сумки с книгами — не за спиной в ранцах, как носили мы, — сумки полны премудростями, тащатся чуть не по земле. Тяжело! Граждане в большинстве хилые, голые ножки с неважнецкими коленками, порода не крепкая. Да и откуда быть крепкой? Отцы, деды, может быть прадеды, бабушки этих Жаков, Пьеретт, Алэнов все со здешних Рено, Сальмсонов, с

маленьких фабричек, никому не известных. Наш край выводит свое племя — в трудах, серости, некрасоте. На улице семь бистро. И отцы, деды путников этих немало утешались у стоек до войны сизым абсентом, после желтым Перно. Да и чем другим собственно было утешаться? Потомство же развели слабоватое.

Дети вольются в большой угловой дом, прогрессивные учителя, правнуки флоберовского Омэ, будут обучать их там вещам бесспорным. В половине пятого на перекрестке вблизи школы восстает лик власти: хранитель Дениз, Жюлей и Жаков, насытившихся наукой. Он строго раскидывает руки. Движение останавливается. Автомобили ждут, мотоциклисты замирают — царство детей. И шумящим потоком, находу давая подзатыльники, подставляя ножку, хохоча, растекаются они по переулкам, прочь от уродливой своей школы, сложенной неизвестным строителем из серых камней (нечем прославить ему здесь свое имя).

Дети будут обычно проводить вечер, ночью спать крепко, возрастать, меняться, на глазах наших проходить разное, от весенних сияний первого причастия, преддверия венчаний, до самых свадеб, живого обручения живому.

НАСМЕШКА

Наши края беззащитны. Что можем мы предъявить прекрасного, просто изящного? Нотр Дам, Сан Сюльпис лишь вдали видны из моего окна. А свое — фабричные трубы, заводики, склады, кое-где пустыри да зелень. Аллея платанов — единственная заступница наша. Да еще кладбище, тоже в платанах. Из окна моего в нем белеют памятники. В общем же: на чем глазу остановиться? Семь бистро? Уголок зоны с лачужками? Мелкие лавочки?

— Лишь в Австралии видал я столь некрасивую улицу, — сказал двадцать лет назад о наших местах поэт.

Что возразить ему? Он объездил весь мир. Значит, только в Австралии. Возможно, что и хватил, ближе нашлось бы, просто здесь же в Париже. Но поди, разговаривай с ним. Высокомерно сказал. С ним самим позже поговорила жизнь. И горестно. Не у нас, а в другом захолустье парижском, не луч-

ше нашего, прожил он последние свои годы. Все увидел, без всякой Австралии, и там же скончался.

— Дорогой мой, ты поселился на Растеряевой улице, — сказал другой поэт, брезгливо оглянулся. — Глеб Успенский, совершенная Растеряева улица!

Так посмеялись поэты над неизяществом нашим. Они, собственно правы. Но не надо смеяться. Не надо смеяться над некрасивою бабкой, над алжирцем в голубом пиджаке с красным галстуком, над воскресною чинной прогулкой семьи, задыхающейся от скуки. «Смирись, гордый человек».

ДЖУЛЬЕТТА

Во времена войны сосед наш носил на руках мальчика в погреб, когда начиналась бомбардировка. Теперь мальчик больше отца. В недалеком углу зоны, среди лачуг гнездился маленький юный идиот. Победоносно носился он по улице, как наш тульский, притыкинский «бахи́-баха́», с выпяченной нижней челюстью, дегенератскими губами, чуть прорезанными глазами. Теперь он толстый молодой идиот, краса и гордость нашей местности. Некоторые даже считают, что он воспитан и хорошо одевается.

Джульетту помню маленькою девочкой, почти красивой, с несколько бараньим лбом, над ним кудряшки, с большими, упрямыми светлыми глазами навыкате. Жила где-то неподалеку, отличалась тем, что вечно каталась на велосипеде.

— Ah, celle-ci, — говорила консьержка, мадам Жак, сухая, тощая и строгая. — Elle roule toujours! Это не доведет ее до добра.

Мадам Жак была женщина раздражительная, прямая и самоуверенная. Нас всех держала сурово. Джульетту вообще не одобряла.

— Ah, vous savez c'est une famille!

Семейка Джульетты, действительно, не из важнецких. Мать умерла — кажется, после драки. Были братья, сестренки. Отец алкоголик. Многое разное говорили о нем, о его отношениях к детям, к той же Джульетте. А время шло и Джульетта подрастала. Приближалась война и крашеная мадам Жак, похожая на нервную жердь, ушла из нашего дома. На про-

щанье едва не зарыдала, сказала вдруг мне, что мы с Элли были лучшие и единственные ее друзья — это навело меня на меланхолические размышления об одиночестве.

А Джульетта обращалась в красивую девушку. Хорошо, что мадам Жак не было уже здесь, когда появились немцы: Джульетту не раз видели с немецкими солдатами. Мадам Жак злорадствовала бы.

— Elle roulait au bicyclette comme une folle! Это не доводит до добра.

При «освобождении» ее не обрили, за немцев вообще над ней не издевались — не знаю почему. Вероятно, по недосмотру.

Вместо немцев явились американцы и опять то же: шоколад, бистро, аперитивы. Но Ромео для Джульетты не нашелся. Все продолжалось, как и надо. Только умер, наконец, отец. Джульетта переехала в небольшой отельчик, неподалеку. Велосипеда давно не было. А к разгулу она привыкла.

Раз утром я сидел у себя, занимался. Элли возвратилась из плавания. Распахнув дверь, с покупками в руках, сказала:

— Помнишь ты такую Джульетту, девченка была, все на велосипеде катала?

— Помню.

— Ну, так ее только что убили! Такой ужас. Она недалеко тут комнату снимала. По вечерам исчезала, все по каким-то бистро, кабакам. А на-днях вовсе не вернулась. Нашли в Булонском лесу задушенной. Ограбили, конечно, выбросили из автомобиля. Да что на ней найти-то можно?

Был зимний день. Редкий для Парижа случай: белизна крыш заснеженных. У меня в комнате светлый их отсвет, как в Москве моей молодости. Снег шел все эти последние дни. Он завеял деревья, ветки Булонского леса. Запорошил тело Джульетты.

МАДАМ БРОШЭ

Всем было невесело, нашему краю особенно. Совсем он принизился — и без войны неказист, тут захирел вовсе. Как и не захиреть? Остались такие, кому некуда уезжать, не на что. Заводам тоже не переехать, их старались громить с неба,

заодно и нас грешных. И так-то уж мы не блещем, а тут еще бомбы. Весь наш край тогда заушался, это располагало к нему. («Горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам!»)

В потемках утра Элли стояла в хвосте к молоку. Иногда я стоял. Я называл себя и сохвостников своих мизераблями долин адских. Мы, правда, похожи были на грешников Данте. Еще больше на них походили в подземелье домов при бомбардировке.

Так я и познакомился с мадам Брошэ.

Наверху выли сирены, глухо бухало. Большой подвал, куда вели коридоры, был полон жильцов. Элли сидела со мной рядом, дрожала. Я гладил ее руку. Со мной было ей легче — она приваливалась плечом ко мне, точно я мог бы защитить ее, если бы дом рухнул. (Но у меня тоже было странное чувство — мужчины, защиты... Я тоже считал, что могу защитить).

Взрыв ахнул близко. Ребенок заплакал, стена вздрогнула. Пронеслось душное веяние из коридоров. В поднявшейся пыли вдруг явилось лицо старушки, худенькое, со слегка воспаленными глазами на выкате, древними бородавками. Оно улыбалось, сияло добротой. Рука с артритическими узлами гладила руку Элли.

— Сейчас кончится, мадам! Это последний удар. Ничего, ничего, все будет хорошо!

Элли встрепенулась.

— Ах, мадам Брошэ, как вы сюда попали?

Мадам Брошэ никогда вниз не спускалась. А на этот раз зашла к нам в дом и пришлось спуститься — началась бомбардировка, надо было сопровождать знакомую с ребенком.

— А это мой муж, — сказала Элли.

Мадам Брошэ изъявила полное удовольствие.

— Oh, monsieur, je connais bien votre dame. Elle est très très gentille.

Если и не последний, то оказался предпоследний удар — дело кончилось. В общем мадам Брошэ угадала. Да у ней и вообще был такой вид, что все ничего, если бомбардировка, то значит bon Dieu так хочет и нечего суетиться. Элли от одного вида ее подбодрилась, я же с того дня стал знакомым мадам Брошэ, le mari de la gentille dame russe.

Мы раскланивались, встречаясь, с видом чрезвычайной любезности, осведомляясь о здоровье и часть ореола Элли па-

дала на меня. Худенькая, некрасивая старушка с водянистыми глазами, бородавками на лице, ходила небыстро, но куда надо ей, добиралась: в молочную, булочную, съестную лавку.

Она вовсе не нищая. У ней собственный небольшой дом, двухэтажный. Внизу, в маленькой квартирке живет сама, остальное сдает. Рядом с ней мы с Элли безденежные. Но не это важно. Важно, что ничто не может сдвинуть ее с места. Никакие хвосты, ни рютабага, которой питаемся, ни бомбы. Мы худеем от войны, она нет — ей уж худеть некуда.

Встречая Элли, она говорит:

— J'ai toujour, une petite prière pour vous, madame! Chaque jour.

И улыбается. Элли тоже о ней молится, о Marie, у ней тоже «une petite prière pour madame Brochet».

БАРДАДАХ

Две ужасных зимы. Как было холодно! В январе снег лежал три недели — слыханное ли в Париже дело? Мы сопротивлялись. Я топил кое-чем печурку, мы жили в одной комнате, я сидел над Данте, Элли варила в ледяной кухне. Но мы держались на печурке. Без нее пропадать.

И вдруг внутренняя решетка ломается. Неловко уронил, старье развалилось. Просто переломилось. Топить нельзя.

— Надо звать Бардадаха.

Бардадах живет не в пещере, но вроде, в лачуге, стучит, гремит молотком, чинит, паяет. У него малый горн, как у Вулкана, но он не хромой и Венеры нет. Он просто мьсе Грениэ, но для нас с Элли — Бардадах — в этом его миф.

Дома он не всегда. Его дикообразный облик часто видится на столь некрасивейших улицах, у стоек бистро — самых последних.

Лишь ей ведомыми путями отыскивает его Элли. Бардадах появляется. Я показываю ему сломанную решетку. Он издает сумрачный звук — понимать его вообще трудно. На голове кепка времен Пуанкарэ, из-под нее седоватые космы, борода дика, нечесана, на щеках красные пятна — давние наслоения аперитивов. И в конце концов это вроде притыкинского Климки, речь бессвязна, жизнь убога. Но у Климки не было апери-

тивов. Климка проводил дни, убирая конюшню, пропахивая огород, ругаясь с черной кухаркой — напивался редко: не на что было часто, к сожалению.

Бардадах постоял, повертел решетку, унес в кузницу Вулкана. Из отрывистых его рыков кое-что поняла Элли, но не я. Он ушел, я же просто подчинился. И пришлось, несмотря на холод, отворить окно — освежить воздух от Бардадаха. Он носил с собой весь свой мир.

Вечером явился с решеткой, спаял ее. Поблагодарив златницами, я поднес ему, в знак поощрения, стаканчик рому. Бардадах осклабился, мучительно закатил назад голову, глотая, крякнул. Дружественный союз был заключен. С тех пор я осознал его. Бардадах вошел для меня в пейзаж местности, это нехитрый малый дух ее. Я стал чаще замечать — не тогда лишь, когда из-за поломки крана, печки приходилось его звать. Убогую фигуру в кепке, с красным носом, красными щеками, дикой шевелюрой нередко приходилось видеть теперь на перепутьях мест наших. Он всегда влекся куда-то, шаркая ногами, устремлялся к новым берегам — новым починкам, новым кабакам. Встречая меня, иногда издавал сочувственный звук. Вероятно в туманном мозгу восставал мой ром. Как бы то ни было, благодаря Бардадаху мы не замерзли. Храню доброе о нем воспоминание, как и о далеком тульском гражданине Климке, облике убожества российского.

Время шло. Война кончилась. Все менялось. Бардадах исчез. Вероятно сложил многотрудные кости после очередного coup de rouge. У нас его больше нет.

На площади же Порт Сэн Клу, в газоне сквера, поставили не так давно носорога под бронзу. Рог его победоносно поднят, на ногах смешные складки вроде штанов. Местный поэт сочинил, в духе капитана Лебядкина, похвальное ему четверостишие:

Над зеленой муравой
Воздвигается герой.
Он стоит в своих штанах,
Что за славный Бардадах.

МИР

Дальше от нас, вглуби Булони, разрушения войны заметней. Долго стояли дома со снесенными этажами, дико зияющими дырами. Тут безвинный убиен русский мальчик, воздушной контузией, прямо на улице. Там рухнул целый дом — под развалинами его погибли все, и ушедшие в погреб, и не уходившие. Ничего не осталось от дома. На его месте теперь площадка, играют дети в окружении посаженных топольков. Так над костями расстрелянной молодежи в Москве, у Рогожской заставы, забавляются футболисты.

На кладбище, среди зелени, целый ряд могил — не воинов, а таких же как мы насельников некрасивейших улиц. И над всем этим — вот зеленеет уже травка времени, ничем не остановишь. Будни идут. Идут дни. Мертвые ушли, живые ждут.

А пока что — как и другие обитательницы — Элли снимается утром с якоря, выходит в странствие, когда надо возвращается.

— Ты знаешь, что сказала мне сейчас мадам Брошэ? Вот чудная старушка! Когда встречаемся, мы говорим друг другу нежности. Нынче она себя превзошла. Я рассказала, что у нас есть под Парижем кладбище, русское. Она говорит: «Наверное и вы с monsieur votre mari приобрели себе там место?» Я отвечаю — нет. Тут ляжем, вот рядом кладбище. Ты посмотрел бы, что с ней сделалось! Будто подарок получила. «Mais, chère madame, ma place est exactement là-bas! Nous serons donc voisins!» И понимаешь, так обрадовалась, точно мы к ней в гости собрались. «Enfin, quant à vous, ce n'est pas pour demain... Mais ce sera un très agreable voisinage!» Так что мы с тобой теперь устроены, нескучно будет.

Вижу худенькую фигурку мадам Брошэ. Вот-вот будто и развалится. Но ничего, напротив, все в порядке. Живем, помрем, места найдутся. Все правильно. Все медленно, неотвратимо ведет к миру.

ПОЯВЛЕНИЕ ЗВЕЗДЫ

Я не любил кирпичную трубу, высокую и скучную, вздымавшуюся над фабричкой, пересекавшую мне горизонт. В скромный пейзаж из моего окна входила она резким звуком.

И вот однжды утром оказалось, что труба одета сеточкой. В сеточке двигались букашки. Ага, пришел ей конец! Просто ее начали разбирать. Каждый день таял кусочек наверху, труба садилась. Правильно: фабричку отменяют, на ее месте будет дом, жилой, их теперь много принялись строить. Из окна вижу с разных сторон растущие стройки. То десятиэтажный дом, то на месте трубы семиэтажный. Вдали, там и сям, подъемные краны, grues — у нас сооружение над колодцем в деревнях, чтобы вытаскивать бадью, называлось тоже журавлем.

Из окна своего, с пятого этажа, я все это приветствовал. Особенно же приветствовал сходящую на землю ночь. Это моя союзница. Мой друг. Ночь закрывала всю некрасоту. Темная влага, в ней золото огней. Направо, со стороны возвышенности Исси, огни мерцают отдаленно, мелко. Вблизи ярче, веселее. Но дай им Бог блистать всем, кто как может. Они являют тоже мир, свидетельствуя о жизни.

И главное — передо мною небо. Там свои огни, то, что волшебно для меня с юности — в России, в тишине деревни, в захолустье так чудесен узор звезд.

Зарево Парижа несколько мешает, иногда очень. Даже из окна, при широте охвата, трудно видеть звезды. Все же именно этой зимой, поздно ночью вдруг удалось увидеть Орион с поясом царей, над кладбищем повисший Сириус. Сириус это зима, снег, мороз, в русском морозе играет он самоцветом, зацепившись за мохнатую ветвь елки. Из чащи, может быть, выйдет лось.

Но теперь в весенне-летнем булонском небе как в лесу. Где друзья, сопутники с ранних лет — разные Капеллы, Лебеди, Плеяды, Близнецы, главное: где Лира с альфой — Вегой? Голубая звезда, с юности покровительница, столь мною воспетая.

Здесь «понимаю» только Большую Медведицу. Это налево. Ее не затмят отсветы, никакие туманы. Никогда и в России близка она не была. Сильна, грубовата, правда Медведица, хоть и золотая, хоть по двум крайним ее звездам прямо докатишься до Полярной — столпа, оси мира.

Не так давно, в три часа ночи подошел к окну, растворил. Ночь ясная, летняя, для Парижа прозрачная. Над городом слабое зарево. На улице сумрак. И дальнее легкое гуденье, точно телеграфная проволока. Пустынно в общем. А со сторо-

ны Медона, с юго-запада, веет тихим благоуханием — там леса, поля. Когда тянет оттуда, воздух чудесный.

Все это знаю, ценю, нового нет. Но вот подымаю голову: высоко, прямо над головой, она, да, сомнения нет. Голубая звезда — Вега.

Я и раньше по вечерам видел ее, но уверен не был — сквозь городскую муть мелких звезд ее созвездия не различить. А теперь ясно: это она ведет золотой параллелограм, четыре как бы сестрицы и еще одна сбоку, все вместе Лира, шестизначное созвездие. Его альфа есть голубая звезда, первой величины. Молодость неба, небесная дева Вега. Она ближе других и моложе, ее свет в меньшее время до нас доходит и он нежно-голубоват, в нем мир и успокоение.

Я видел ее в России, в счастии и беде, сквозь ветви притыкинских лип и из колодца двора Лубянки. Видел ее в Провансе, близ пустынного монастыря Торонэ, где в лесу сохранилась тропинка, по которой св. Бернард ездил на осле в аббатство. В Париже я ее потерял. Но вот в глухой утренний час она явилась мне вновь над Булонью.

МОЛЧАНИЕ

Вскоре после войны, в Страстную Пятницу, появилась на стене нашего кладбища, прямо на улицу, огромная надпись углем:

— Silence! Christ est mort.

Удивительно. Мы привыкли к другим надписям. Но живи и не удивляйся. Не удивляйся тому, что в Страстную Пятницу в нашем красном предместье действительно было тихо.

— Christ est mort.

Я и не удивляюсь теперь, что недалеко от нас, кроме нашей русской, еще две католические церкви, где служат молодые священники нового типа — иногда сухощавый силуэт не то в подряснике, не то в рабочей блузе, с портфелем под мышкой и тонзурой на голове пересекает Растеряеву улицу. Как пересекают ее весной мальчики с белым бантом на рукаве новеньких костюмчиков или девочки в белой фате с сияющими лицами.

И когда молодая монахиня в белом подкрахмаленном капоре, темном платье, с четками на руках катит на велосипеде

и я с ней раскланиваюсь, тоже не удивляюсь: это знакомая, сестра Анжелика из St. Marie de la Presentation. Ее жизнь в том и состоит, что молчаливо входит она в двери недужных и страждущих, серыми бретонскими глазами скромно улыбается, вынимает шприц, делает свое дело, вспрыскивает что надо и на стальном коне катит дальше.

Не удивляюсь подземному произрастанию. В Страстную Пятницу все молчат, потому что Christ est mort.

ЧУЖЕСТРАНЕЦ

Иду ли куда я, или Элли, считается, что мы «прогуливаемся».

— Vous allez vous promener?

Не чувствую в этом неодобрения (или же оно хорошо скрыто). Просто представители чужого мира — и странного, не совсем так проходят по Булони как свои, мало сливаются с пейзажем. Жители ходят, мы прогуливаемся. Но нередко под вечер, в зачинающихся сумерках я и действительно выхожу бесцельно. Вероятно, это заметно по лицу, походке. И сам кажешься тогда себе тенью, проходящей в чужом, но уже привычном мире. Они сами по себе, я сам по себе. Я для них за стеклом, они для меня тоже.

Возвращаюсь из города, поднимаюсь по лестнице метро. Иду медленно. Но еще медленнее взбирается старый, вдвое согнутый тяжеловесный еврей. Рукою он придерживается за перила, в другой у него мешочек, несет что-то. Я его обгоняю. Как он трудно и тяжко ходит! Как вспотел веснущатый лоб, как скорбны глаза с воспаленными веками.

Я его знаю в лицо. Раньше он меньше был согнут, быстрее ходил. Кто он? Что делает? Это мне неизвестно. Элли видела его не так давно. Он шел за похоронными дрогами — пара лошадей, мертвенно-черное сооружение, на нем гроб. Шел один, в гробу жена. Он шел и плакал. Я встречаю его иногда. Его вид есть уже некий плач. Это мой ближний, такое же инородное тело здесь, как и я, и так же он для меня недосягаем, как и для него я. Один чужестранец обгоняет другого. Он на каждом шагу останавливается, переводит дух. Выйдя на улицу вынимает платок, отирает со лба пот. Я иду тоже медленно.

Но быстрее его. Иногда оборачиваюсь. Он все так же бредет, едва переставляя ноги. Я поворачиваю за угол и все, что есть он, скрывается от меня так же, как скрылась для него в могиле та, с кем он прожил жизнь.

СНОВА МАДАМ БРОШЭ

Не вечно все-таки ходить мадам Брошэ по нашей улице, встречаться дружественно со мной.

— Знаешь, — сказала раз Элли, вернувшись из плавания, — мадам Брошэ захворала. Что-то вроде удара.

В этом нет ничего удивительного, скорее то удивительно, что у нее раньше его не было. Сколько раз собирался я позвать ее к нам на чашку кофе, поговорить, расспросить о долгой жизни в мире, для меня далеком — и наверное многое она рассказала бы.

Но вот не собрался. А теперь уже поздно. Проходя в тот же вечер мимо ее двухэтажного домика с решеткой, с крыльцом и необычайной чистоты стеклом комнаты, где она жила, сразу почувствовал отсутствие. На столбике ограды сидел кот, ожидая блюдечко молока. Тишина и безмолвие. Мадам Брошэ в госпитале, остаток жизни ее теперь в других измерениях.

Она умерла через несколько дней. Весть об этом пришла по живой молве, по воздушной почте обитателей. Все так вышло, что ни я ни Элли не были на отпевании «J'ai une petite prière pour vous». Отпевание могло произойти только у нас в сердце. И в день похорон лишь из окна видно было, направо вдали, как входила процессия на кладбище — была ли это она или другое погребение? Кортежи нередки здесь, но это все равно. Она ложится сюда на кладбище, нынче или завтра, какая разница. «Mais, chère madame, ce sera un très agréable voisinage!»

Наверное она права. Мне такое соседство приятно, как и для Элли, но все же не знаешь, куда придется ложиться до самого дня, когда ляжешь.

Тот вечер был очень тих и покоен. Когда мрак спустился, оказалось, что небо в звездах. Часов в одиннадцать я отворил окно — обычное златисто-голубоватое зарево над городом, в домах мало уже огоньков, и далекий гул, несильный, ровный.

Иногда лишь его прерывает влетающая машина, гудит как несущаееся ядро и, ослабевая, замирает.

Спят не уехавшие на отдых дети, кому скоро уж начинать беготню в школу, спят их мамаши, bonnes ménagères — завтра тронутся они вековечно в мясные и булочные, съестные, как двинутся папы по заводам Рено и другим, как побегут к метро худенькие мидинетки, на соседнюю фабрику женщины покрепче. Все идет медленным и непрерывным ходом. Старому еврею жить недолго, молодым аббатам долго ходить по приходу, сестре Анжелике долго ездить по больным на велосипеде. В доме мадам Брошэ поселятся родственники, давно уход ее карауливщие, заведут жизнь свою, думая, что навсегда. И уйдут так же.

В небе тоже идет свое действо. Всматриваясь в него, видишь, как изменились сочетания звезд — одни, кого весной не было, взошли, других нет вовсе. Но они так же плывут, по тем же неизбывным законам, видя малую нашу жизнь, так же непостижимо прекрасные.

И вот, подняв совсем вверх голову, вижу над собой Лиру и звезду мою Вегу, почти уже зацепившуюся за край дома нашего. Голубой свет ее все такой же. Зимой не найдешь ее. Но ничего, ничего. Если даст Бог дожить до лета, она вновь будет сиять в эти часы над нашей бедной, некрасивейшей улицей.

Париж
1955 г.

РАЗГОВОР С ЗИНАИДОЙ

De profundis clamavi

Ты явилась в наш прочный деревенский дом как вихрь. Просто прискакала на коне — была осень первой войны — примчалась из имения соседа, твоего двоюродного брата. Высокая, тонкая, с довольно широким лицом, несколько сумасшедшими глазами. Говорила без умолку, восторженно целовала мою мать, жену. Все кипело в тебе и бурлило. Трудно было усидеть покойно.

Странное время, грозное время. Оно вспоминается в осенних холодных зорях, в свисте ветра, гуле берез на въезде в усадьбу, в роковых сумерках надвигавшейся ночи Европы.

В тебе всегда была удаль и отчаянность. Сколько сил, сколько жизни! Ты не могла просто ехать на лошади. Надо мчаться. И кони твои всегда были сумасшедшие. Раз, на заре, вылетая от нас из усадьбы, ты и слетела со своего дамского седла — лошадь шарахнулась от вскочившей собаки. Ты хлопнулась оземь, но ничего, вскочила, догнала и опять поскакала.

Мы и вместе скакали, помнишь, верхом по окрестностям?

— Нет, уж рысцой не могу! Ехать так ехать!

Гонка в красной заре заката, по опушке какой-нибудь Рытовки называлась у нас: бегство Карла Смелого после битвы при Нанси.

— Я и понятия не имею, какой это Карл Смелый, но если вы говорите, что он Смелый, то уж он мне нравится.

В тысяче верст от нас, в стороне кровавого заката шли бои, много погибало смелых. До нас еще не дошло. Судьба только еще подводила нас к театру: участия мы пока не принимали.

Но усидеть долго в тульской глуши ты не могла. Слишком гремело *там*. Мы немного с тобой поскакали по полям и опушкам каширским. Тот же ветер, что гудел в старых березах у въезда в усадьбу, унес тебя в самое пекло: ты пошла на войну, сестрой милосердия.

*

Тебя давно уже нет. Это ничего не значит. Вижу тебя и слышу, и вот говорю с тобой, какою ты была много лет назад, полоумной девчонкой в деревне, позже другом на чужбине.

Вот и слушай, что я скажу: прямо передо мной, под Распятием на стене, два маленьких металлических образка: св. Серафим Саровский и Христос Вседержитель — это ты нам оставила, помнишь? — вечную память о себе, о России: в смертный час тебе передал это русский солдат, умиравший у тебя на руках. Знаю руки эти, знаю сердце твое. «Неизвестный солдат» снял нательные образки и тебе передал — как сестре, истинной сестре, и не ошибся. Твои зелено-мокрые глаза смотрели на него. Он не ошибся. Передал кому надо. И на скромных образках тайно запечатлелась кровь мученическая. Чувствую тебя, Россия. Безымянная и безответная Россия.

Слежу твой путь, Зинаида. Вижу тебя в госпитале, такую же бурную, неукротимую, как и на коне, как в беседе.

На улице, под твоими окнами, лежит старенький раненый генерал. Идет стрельба. Госпиталь обстреливают, лежать генералу и ждать, пока и его добьют? Кто вызовется спасти? Нужны серозеленые сумасшедшие глаза, но вот они есть, они нашлись. Только такая могла выскочить из дверей госпиталя и под огнем домчаться до старичка, дотащить, укрыть, спасти. «Рысцой не могу!» Тут надо вскачь. Святым Георгием отмечена за это твоя грудь.

Во тьме гражданской войны теряю тебя, не вижу и не знаю. По каким степям ты кочевала с лазаретами своими, чьи стоны слышала, кого напутствовала, я не знаю.

— Но что замужем была, в Киеве, знаете? Ах, лучше не вспоминать! Его убили через несколько месяцев.

Это я как раз и знал. Да, ее нет, но как будто слышу ее голос, все такой же, быстро-восторженный. Это и есть разговор

с тенью — в тени этой часть прежней жизни, прежнего очарования. Ты явилась затем не как тень, просто Зинаидой — из Югославии, в Париж двадцатых годов. Так же бросилась к нам на шею и душила в объятиях, такая же полоумная, как прежде. Десять лет закалили тебя. Ты прошла ад войны, революции, междоусобицы, беженства. Не была уже той беззаботной девчонкой из барской семьи, какой носилась со мной верхом по полям тульско-каширским. Руки твои загрубели, руками этими ты теперь умела делать шляпы, разрисовывать платочки, шить, убирать, стряпать.

Все это ты сама знаешь. Но мне хочется вслух вспомнить, и я обращаюсь к тебе.

Но вот этого, может, не знала тогда: в тебе сидел уже тонкий яд — злой яд болезни, возбуждавший и отравлявший, зажигавший и подтачивавший: легкий кашель, смех, румянец, острота и упадок.

Ты и по Парижу металась, как раньше по полям российским. Полюбила ли кого по-настоящему? Полковника давно уже не было. Ты вышла в Париже замуж за знакомого своего по Загребу, — из «стрелков императорской фамилии». Хороший человек, простой и немудрящий, слабый. Как и император и все в полку его, носил небольшую бородку. Но теперь заведывал гаражем. Русские шоферы ставили туда свои машины. Был среди них и командовавший армией Западного фронта.

*

Хорошо ли ты жила здесь со своим стрелком? Не знаю. Думаю, так себе. Не знаю подлинных твоих романов и влюбленностей, но думаю, что всего этого было немало. Ну, да черта́ вечности отделила уже от всего «такого».

Стрелка́, впрочем, иногда дико ревновала и вскипала на него. Выкидывала штуки, вполне на тебя похожие: поссорившись, могла уйти утром на целый день, заперев в шкафу его ботинки: пусть посидит дома! И стрелок со своей императорской бородкой так и просидел весь день дома, в бессильной ярости (глупость и пустяк, вспомнившиеся из твоей бурной жизни).

Здесь, в Париже, как и на полях сражений, как и в лазаретах, ты вечно кому-то помогала, бегала, поддерживала, го-

рячилась. Но и на шляпы, над которыми корпела, и на выяснение отношений, и на любовь, и на сцены, нужны силы. Ты сильно кашляла. Замечала ли сама? Не знаю. В таких случаях, как у тебя, больные склонны к оптимизму. Но худела, и твои зеленоватые глаза ярче и болезненней горели. Ты по-прежнему душила в объятиях друзей, которых знала еще по России, молодости. Но твоя молодость явно уходила.

И из тесной квартирки с незаконченными шляпами, манекеном в углу, разбросанными лоскутами материй, тусклым воздухом, где ты кашляла, сгибаясь над работой, в некий час тебя услали в санаторию, далеко, на границу Италии.

Стрелок остался один. Ты сидела в горах — вот след жизни той, снимок: с приятельницей санаторской, на утесе, те же восторженные глаза, длинные ноги, широкие скулы, сзади ели, кругом дикие горы. Это все так твое! Так тебе подходит. Может быть, ты сейчас полезешь на отвесный утес, поросший лесом, может быть прыгнешь вниз — так, из молодечества, чтоб что-то доказать кому-то. Бог тебя знает. Вероятнее всего выкинешь что-нибудь неподходящее.

Но в твоей судьбе, как в твоих глазах, длинных ногах, быстрых движениях было всегда что-то неподходящее. Ты отмечена была странным, диким полетом и бескрайностью России.

А стрелок жил один. В одиночестве постреливал, как будто благодушно и невинно. Ходил, конечно, и в гараж, но чаще выпивал. Играл по вечерам в карты, дам угощал. Попал в круг знакомств двусмысленных. Денежки, денежки, на все нужны денежки. Понемногу слабел, распускался — и опустился. Иногда приезжала и ты в Париж, но редко, ненадолго. Замечала ли что? Но не говорила ничего, даже близким.

Туча же заходила, черно-зеленая. Пока ты кашляла, дышала горным воздухом рядом с Италией, туча росла, надвигалась. Наконец, и надвинулась.

*

Она съела всю твою, еще молодую все-таки, жизнь без остатка. Однажды некая молния, озарение, пронзили тебя там, в горном убежище, ты стремглав вылетела и внеслась к нам — не на коне, как прежде, но такой же пулей. В нашей квар-

тирке в полубреду и жару ты лежала, а стрелка́ уже не было: денежки, денежки, водочка, кабачки. Своих не хватало, стал тратить чужие. Не много-то и растратил. Но вернуть уж не мог. И позора не пережил. Газ отвел от него позор, перевел в вечность. В газе этом заснул стрелок с императорской бородкой.

Это вот ты и почувствовала в своем Бриансоне. К кому ехать в Париж? Ни отца у тебя не было, ни матери, ни сестры. Как к матери ты прижималась к моей жене, меня обняв рыдала. Но вокруг тебя была любовь, не только наша. Приходили, тоже обнимали, целовали, утешали. Более женщины: женские сердца обширней.

Страшна́ жизнь. Твой стрелок незамеченный пролежал три недели, никто к нему не заглянул. Только когда на лестнице запахло газом, догадались. Как не взлетел дом на воздух? Все-таки взрыва не было. То, что осталось от стрелка, упокоилось в земле латинской.

Ты уехала назад, в горы. Случай с мужем твоим — таких сотни в Париже, Франции, мире. Поплакали, успокоились. Ты жила там одна, опять. Одна, средь полуобреченных и чужих, среди утесов, диких гор, диких елей по склонам, дыша там воздухом, какого мы тут и не знаем. Может быть, вновь взбиралась со случайной подругой на кручу, как тогда, и сидела, плакала или хохотала, и писала нам восторженно-отчаянные письма.

Смотрю вновь на образки, завещанные тебе солдатом. И опять ты, Россия, солдат, все сливается в одно: в стон, в молитву о всех страждущих — вот как ты, умиравшая в этом Бриансоне в одиночестве. Из одиночества этого, «из глубины воззвах», написавшая нам. «Вы моя родина, вы для меня Россия, и отец, и мать. У меня больше никого нет».

Но мы были за тысячу верст, когда в некий день хлынула наконец у тебя из горла кровь фонтаном, с тою бурностью и стремительностью, как всегда все было в твоей жизни. Не остановишь, нет, не остановишь.

Скромная твоя подруга, подлечившись там и возвратившись оттуда, принесла мне эту о тебе весть. Я ее принял. Я знаю,

что ты лежишь одна в Бриансоне, в горной земле, но забыть нам тебя нельзя. Да, всегда ты с нами. По словам Апостола: «Поглощена смерть победою».

Париж
1958 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ